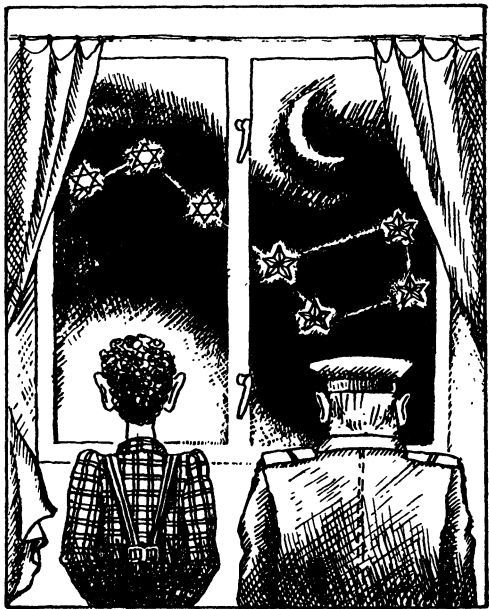


Облака
глыбут
в Абакан...

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ПЕНАТЫ"



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Серия: Российские барды

Александр Галич

**ОБЛАКА ПЛЫВУТ
В АБАКАН**

Издательский дом «Пенаты»
Санкт-Петербург
1996

Составитель — *Василий Бетаки*
Редактор — *Владимир Кавторин*
Корректор — *Алла Иванова*
Рисунки — *Ирина Ужинова*
Оригинал-макет — *Юрий Смиренников*

ISBN 5-7183-0120-4

- © Александр Галич, 1977
- © Рисунки — Ирина Ужинова
1996.
- © Состав и оформление —
Издательский дом «Пенаты»,
1996.

Василий Бетаки

ВМЕСТО МЕМУАРОВ

Мемуаров писать я не умею. Могу только рассказать, что познакомились мы с А.А. Галичем на конференции журнала «Посев» в 1974 году во Франкфурте, в первый день его приезда. В конце утреннего заседания он шел после своей короткой речи по проходу между рядами, остановился и спросил, я ли — Бетаки. Поблагодарил меня за статью о его поэзии, недавно опубликованную. Потом, уже после его вечера (на котором он впервые исполнил целиком «Кадиш» и всю поэму о Сталине), мы долго беседовали сначала в редакции «Посева», вместе с двумя сотрудниками журнала, а затем — в пивной, уже вдвоем.

Назавтра он уехал в Норвегию, потом год почти жил в Мюнхене. За этот год мы виделись раза три-четыре, во время моих кратких поездок в Мюнхен,

где была главная редакция радио «Свобода». (Он тогда работал в мюнхенском центральном отделении станции, а я в парижском)

Но вскоре он перевелся в Париж, и стал заведовать культурной программой всей радиостанции. До самой его гибели в декабре 1977 г. он был моим редактором и первым читателем.

В соавторстве с ним мы сделали несколько больших передач. Одну помню хорошо — это была передача «Париж в русской поэзии». Мы оба читали, он пел... Вел передачу Анатолий Шагинян...

Все эти три года мы с Александром Аркадьевичем встречались как минимум раз в неделю в редакции радио, и еще время от времени дома у Владимира Максимова или редакции «Континента», где я тогда работал.

Нередко мы собирались у него втроем с моим старинным другом Анатолием Шагиняном, работавшим на радио звукорежиссером. С ним А.А. подружился сразу после переезда в Париж. Прихо-

дил и «Платоныч» (Виктор Платонович Некрасов). Бывал у Галича и Е.Г. Эткинд. Иногда он пел для нас, троих или четверых... Новые песни, написанные уже в Париже, а по нашей просьбе — и кое-что из старых...

Последний разговор был об Н.А. Некрасове — Галич предложил мне вместе написать получасовую передачу к столетию со дня смерти поэта. Было это в редакции радио 15 декабря 1977 г. в 11 часов утра. Уговорились, что я приду к нему домой к трем часам. (Ему надо было заехать в специальный магазин, купить какую-то особенную американскую антенну к недавно приобретенной радиомагнитофонной системе).

Перед тем, в полтретьего я с кем-то завернул на ул. Лористон к В. Максимо-ву. Подымаясь по лестнице, я громко сказал, что зайду только на минутку — Галич ждет в три (он жил в пяти минутах от Лористон).

Наверху скрипнула дверь, на площадку вышел Максимов и сказал, что Галич умер полчаса тому назад...

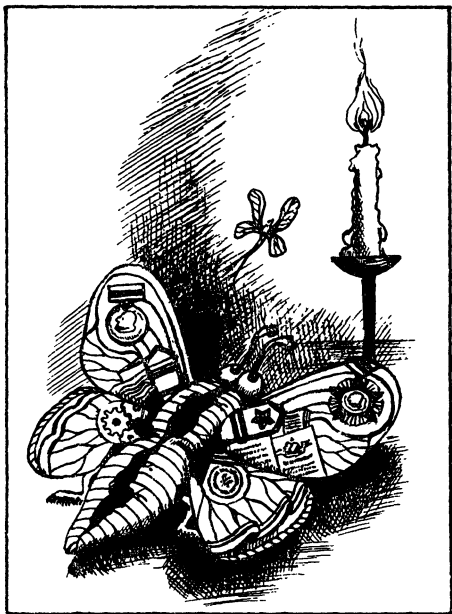
Оказалось, когда он вернулся домой с покупкой, жены его дома не было. Он прошел прямо в свой кабинет и там скинул пальто. Ангелина Николаевна, вернувшись и не увидев его пальто в передней, решила, что его еще нет, и пошла в кухню... А он в это время уже лежал в кабинете на полу...

Видимо, не захотев подождать кого-нибудь, кто мог бы правильно подсоединить антенну, А.А. сам стал втыкать ее вилку в гнездо. Расстояние между шпёнками вилки подходило только к одному гнезду, которого Галич, как видно, не заметил, и он плоскогубцами стал сгибать шпёнки, пытаясь так уменьшить расстояние между ними. Согнул и воткнул в гнездо, которое оказалось под током, то есть вовсе не предназначенное для антенны (по черным полосам на ладонях было ясно: он взялся обеими руками за рога антенны, чтобы ее повернуть...) Сердце, перенесшее не один инфаркт, не выдержало 220 вольт...

А рядом с ним на ковре лежали плоскогубцы и антенна...

**Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ
БЫТЬ ПРОСТО САМИМ
СОБОЙ**







Какой-нибудь дошлый историк
Возмет и напишет про нас,
И будет насмешливо-горек
Его неспешный рассказ.

Напишет он с чувством и с толком,
Ошибки учтет наперед,
И все он расставит по полкам,
И всех по костям разберет.

И вылезет сразу в середку
Та главная, наглая кость,
Как будто окурок в селедку
Засунет упившийся гость.

Чего уж, казалось бы, проще
Отбросить ее и забыть?
Но в горле застрявшие мощи
Забвенья вином не запить.

А далее кости поплоше
Пойдут по сравнению с той, —
Поплоше, но странно похоже
Бесстыдной своей ногой.

Обмылки, огрызки, обноски,
Ошметки чужого огня:
А в сноске —
 вот именно, в сноске —
Помянет историк меня.

Так, значит, за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.

Так значит, за строчку вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Веселому щедрому свету
Сказал я однажды «Прощай!»

И милых до срока состарил,
И с песней шагнул за предел,

И любящих плакать заставил,
И слышать их плач не хотел.

Но будут мои подголоски
Звенеть и до Судного дня...
И даже не важно, что в сноске
Историк не вспомнит меня!

15 января 1972 года

ЗАСЫПАЯ И ПРОСЫПАЯСЬ

Все снежком январским
припорошено,
Стали ночи долгие лютей...
Только потому, что так положено,
Я прошу прощенья у людей.

Воробьи попрятались в
скворечники,
Улетели на море скворцы...
Грешного меня — простите,
грешники,
Подлого — простите, подлецы!

Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и к хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставляю на столе.

Расшумелись к ночи дурни-лабухи:
Ветра и поземки чертовня...
Я усну и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня.

А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок —
Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайте¹, спи, сынок.

Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведен итог,
А над Бабьим Яром — смех и
музыка...

Так что все в порядке, спи, сынок.

Спи, но в кулаке зажди оружие —
Ветхую Давидову пращу!»

...Люди мне простят от
равнодушия,
Я им — равнодушным — не прощу!

¹ Не растраивайся, не огорчайся
(евр.).

ВАЛЬС, ПОСВЯЩЕННЫЙ УСТАВУ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Поколение обреченных!
Как недавно и, ох, как давно,
Мы смешили смешливых девченок,
На протырку ходили в кино.
Но задул сорок первого ветер —
Вот и стали мы взрослыми вдруг,
И вколачивал шкура-ефрейтор
В нас премудрость науки наук.
О, суконная прелесть устава —
И во сне позабыть не могли,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.
А потом, в разноцветных нашивках,
Пронесли мы гвардейскую статью

И женились на разных паршивках,
Чтобы все поскорей навестать.

И по площади Красной, шалея,
Мы шагали, — со славой на «ты», —
Улыбался нам Он с мавзолея
И охрана бросала посты.

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги.

Что же вы присмирели, задиры?!
Не такой нам мечтался удел,
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.

Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты кончай, солдат, нести чепуху!
Что от Волги, мол, дошел до Белграда,
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу,



Так чего же ты не помер, как надо,
Как положено тебе по ранжиру?!

Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат.
Еле слышно отвечает солдат —
Ну, не вышло помереть, виноват.
Виноват, что не загнулся от пули,
Пуля-дура не в того угодила.
Это вроде как с наградами в ПУР'е —
Вот и пули на меня не хватило!

Все морочишь нас, солдат, стариной?
Все морочишь нас, солдат, стариной!
Все морочишь нас, солдат, стариной!
Бьешь на жалость, гражданин
строевой!

Ни денег, мол, ни квартиры
отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,
И один ты, значит, идейный,
А другие, значит, вроде Володи!

Ох, лютует прокурор-дезертир!
Ох, лютует прокурор-дезертир!

Ох, лютует прокурор-дезертир!
Припечатает годкам к десяти!

Ах, друзья ж вы мои, дуралеи, —
Снова в грязь непроезжих дорог!
Заключенные параллели
Преподали нам славный урок —

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.

Пусть опять нас тетешкает слава,
Пусть друзьями назвались враги, —
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги!

А где-то по рельсам, по рельсам,
по рельсам —
Колеса, колеса, колеса, колеса...

Такой у нас нрав спокойный,
Что без никаких стараний
Нам кажется путь окольный
Кратчайшим из расстояний.

Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни — отходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Мы пол отциклуюем, мы шторы
повесим,
Чтоб нашему раю — ни краю, ни
сноса.
А где-то по рельсам, по рельсам, по
рельсам —
Колеса, колеса, колеса, колеса...

От скорости века и сонности
Живем мы, в живых не значась...

Непротивление совести —
Удобнейшее из чудачеств!

И только порой под сердцем
Кольнет тоскливо и гневно —
Уходит наш поезд в Освенцим,
Уходит наш поезд в Освенцим
Сегодня и ежедневно!

А как наши судьбы — как будто
похожи —
И на гору вместе, и вместе с
откоса!
Но вечно — по рельсу, по сердцу,
по коже —
Колеса, колеса, колеса, колеса!

СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань.
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода.
Ни на катере к... этакой матери.
Но, поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И, не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали

по-разному,
Но не против, конечно, а за!



Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчаливики вышли в
начальники,
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

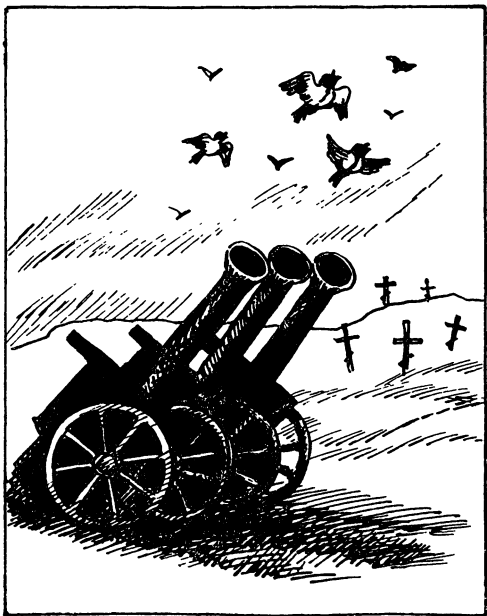
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаяния,
От обиды, от боли, от холода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

ОШИБКА

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим, как
 будто,
Как будто, как будто,



Только однажды мы слышим, как
будто

Вновь трубы трубят.

Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,

Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!

Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,

Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в
нашивках,

В нашивках, в нашивках,

Вот мы и встали в крестах да в
нашивках,

В снежном дыму.

Смотрим и видим, что вышла
ошибка

Ошибка, ошибка,

Смотрим и видим, что вышла
ошибка,

И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота.
Трубят егеря!
Там по пороше гуляет охота.
Трубят егеря...

ГУСАРСКАЯ ПЕСНЯ

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне.
Тетка мой и зависть тайная,
Сердце горем горячи!
Зависть тайная, «летальная», —
Как сказали бы врачи.

Славно, братцы, славно, братцы,
 славно братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря, рать
 любимая царя!
Ах, кивера да ментики, ах,
 соколы-орлы,
Кому ж вы в сердце метили,
 лепажевы стволы?

Не мне ль вы в сердце метили,
лепажевы стволы?

А беда явилась за полночь,
Но не пулею в висок,
Просто в путь, в ночную заволочь
Важно тронулся возок.
И не спеть, ни выпить водочки,
Не держать в руке бокал!
Едут трое, сам в середочке,
Два жандарма по бокам.

Славно, братцы, славно, братцы,
славно братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря, рать
любимая царя!
Ах, кивера да ментики, пора бы
выйти в знать,
Но этой арифметики поэтам не
узнать,
Ни прошлым и ни будущим поэтам
не узнать.

Где ж друзья твои, ровесники?
Некому тебя спасать!
Началось все дело с песенки,

А потом — пошла писать!
И по мукам, как по лезвию...
Размышлять теперь о том.
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу — в желтый дом...
Славно, братцы, славно, братцы,
 славно братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря, рать
 любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
 возвышенная речь!
А все-таки наветики страшнее,
 чем картечь!
Доносы и наветики страшнее,
 чем картечь!
По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне.
Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои,
Нам не зная жребий вывесил —
Носовой платок в крови...

Славно, братцы, славно, братцы,
 славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря, рать
 любимая царя!
Ах, кивера да метики,
 нерукотворный стяг!
И дело тут не в метрике,
 столетие — пустяк!
Столетие, столетие, столетие —
 пустяк...

ЗАПОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД

По-осеннему деревья налегке,
Керосиновые пятна на реке,
Фиолетовые пятна на воде,
Ты сказала мне тихонько: «Быть
беде».

Я позабыл твое лицо,
Я пьян был к полдню,
Я подарил твое кольцо —
Кому, не помню...

Я подымал тебя на смех,
И врал про что-то,
И сам смеялся больше всех,
И пил без счета.



Из шутовства, из хвастовства
В то — балаганье
Я предал все твои слова
На поруганье.

Качалась пьяная мотня
Вокруг приборно,
И ты спросила у меня:
«Тебе не больно?»

Не поймешь — не то январь, не то
апрель,
Не поймешь — не то метель, не то
капель,
На реке не ледостав, не ледоход.
Старый год, а ты сказала — Новый
год.

Их век выносит на-гора,
И — марш по свету,
Одно отличие — номера,
Другого нету!

О, этот серый частокол —
Двадцатый опус,
Где каждый день, как протокол,
А ночь, как обыск,

Где все зазря и все не то,
И все непрочно,
Который час, и то никто
Не знает точно,

Лишь неизменен календарь
В приметах века —
Ночная улица. Фонарь.
Канал. Аптека...

В тот вечер, не сумевший стать
зимой,
Мы дороги не нашли к себе домой,
Я спросил тебя: «А может, все не
зря?»
Ты ответила старинным: «Быть
нельзя».

УХОДЯТ ДРУЗЬЯ

Памяти Фриды Вигоровой

*На последней странице газеты
печатаются объявления о смерти,
а на первых — статьи, сообщения
и покаянные письма.*

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в
князья...

В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Не спешите сообщить по секрету:
Я не верю вам, не верю, не верю!

Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю.

Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка — причастьем!
Есть уходят — на последней

странице,
Но которые на первых — те чаще...

Уходят, уходят, уходят друзья,
Каюк одному, а другому — стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Мы мечтали о морях-океанах,
Собирались напрямиком на Гавайи!
И, как спившийся трубач,
спозаранок
Уцелевших друзей созываю.

Я на ощупь, и на вкус, и по весу
Учиняю им поверку, но вскоре
Вновь приносят мне газету —
повестку
К отбыванию повинности горя.

Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон
на рысях,
Им право — не право, им
совесть — пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!
Уходят, уходят, уходят
Уходят мои друзья!

И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь по
соседству.

Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник
стертый!
Я ведь все равно по мертвым
не плачу —
Я ж не знаю, кто живой, а кто
мертвый.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в
князья...

В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья...

ЗАКОН ПРИРОДЫ

(Погражание Беранже)

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Отправлен взвод в ночной дозор
Приказом короля,
Выводит взвод тамбур-мажор,
Тра-ля-ля-ля-ля!
Эй, горожане, прячьте жен,
Не лезьте сдуру на рожон!
Выводит взвод тамбур-мажор,
Тра-ля-ля-ля!
Пусть в бою труслив, как заяц,
И денжат всегда в обрез,



Но зато — какой красавец!
И какой на вид храбрец!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Проходит взвод при свете звезд,
Дрожит под ним земля,
Выходит взвод на Чёртов мост,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!

Чеканя шаг, при свете звезд,
На Чёртов мост выходит пост,
И, раскачавшись, рухнул мост,
Тра-ля-ля-ля!

Целый взвод слизнули воды,
Как корова языком,
Потому что у природы —
Есть такой закон природы —
Колебательный закон!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Давно в музей отправлен трон,
Не стало короля,
Но существует тот закон,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
И кто с законом не знаком,
Пусть учит срочно тот закон,
Тра-ля-ля-ля!
Повторяйте ж на дорогу
Не для кружева-словца,
А поверьте, ей же Богу,
Если все шагают в ногу —
Мост об-ру-ши-ва-ет-ся!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, правой —
Кто как хочет!

МЫ НЕ ХУЖЕ ГОРАЦИЯ

Вы такие нестерпимо ражие,
И такие, в сущности, примерные,
Все томят вас бури вернисажные,
Все шатают паводки премьерные.

Ходите, тишайшие, в неистовых,
Феями цензурными заняньканы!
Ну, а если — ни премьер, ни
выставок,
Десять метров комната в
Останкине!

Где улыбкой стражники-наставники
Не сияют благостно и святочно,
Но стоит картина на подрамнике,
Вот и все, и этого достаточно,

Бродит Кривда с полосы на полосу,
Делится с соседкой Кривдой
опытом,
Но гремит напетое вполголоса,
Но гудит прочитанное шепотом.

Ни партера нет, ни лож, ни яруса,
Клака не безумствует припадочно,
Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и все, и этого достаточно!

Есть, стоит картина на подрамнике!
Есть, отстукано четыре копии!
Есть магнитофон системы «Яуза»!
И этого достаточно!

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

*Что там услышишь из песен
твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог, да столбов
верстовых...*

А. Блок

Непричастный к искусству,
Недопущенный в храм,
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?!
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю,
Вспомню Мерю и Чудь,
И стыда ни на каплю,
Мне не стыдно ничуть!

Спину вялую сторбя,
Я ж не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу!

— Как живете, караси?

— Хорошо живем, мерси!

...Заходите, люди добрые
(Боже правый, помоги!),
Будут песни, будут сдобные,
Будут с мясом пироги!
Сливы-ягоды соленые,
Выручайте во хмелю,
Вон у той — глаза зеленые,
Я зеленые люблю!
Я шарахну рюмку первую
Про запас еще налью,
Песню новую, непетую
Для почина пропою:

«Справа койка у стены, слева
койка,
Ходим вместе через день
облучаться,

Вертухай и бывший «номер
такой-то»,
Вот где снова довелось
повстречаться!

Мы гуляем по больничному садику,
Я курю, а он стоит на атасе,
Заливаем врачу-волосатику,
Что здоровье — хоть с горки
катайся!

Погуляем полчаса с вертухаем,
Притомимся и стоим, отдыхаем.
Точно так же мы «гуляли» с ним в
Вятке.

И здоровье было тоже в порядке!
Справа койка у стены, слева
койка...»

Опоздавшие гости
Прерывают куплет,
Их вбивают, как гвозди,
Ибо мест уже нет,
Мы их лиц не запомним,
Мы как будто вдвоем,
Мы по новой наполним
И в охотку допьем!

Ах, в «мундире» картошка —
Разлюбезная Русь!
И стыжусь я... немножко,
А верней, не стыжусь.

Мне как гордое право
Эта горькая роль,
Эта легкая слава
И привычная боль!

— Как жуετε, караси?
— Хорошо жуем, мерси!

Колокольчики-бубенчики,
Пьяной мудрости хамеж!
Где истцы, а где ответчики —
Нынче сразу не поймешь.
Все подряд истцами кажутся,
Всех карал единый Бог,
Все одной зеленкой мажутся,
Кто от пуль, а кто от блох!
Ладно, пейте, рюмки чистые,
Помолчите только впредь,
Тише, черти голосистые,
Дайте ж, дьяволы, допеть:

И стыжусь я до дрожи,
И желвак на виске!..

— Как стучите, караси?
— Хорошо стучим, мерси!

...Все плывет и качается,
Добрый вечер! Добрый день!
Вот какая получается,
Извините, дребедень!
«Получайник», «получайница», —
Больно много карасей!
Вот какая получается,
Извините, карусель.

...Я сажу, гитарой тренькаю —
Хохот, грохот, гогот, звон...
И сосед-стукач за стенкою
Прячет в стол магнитофон...

ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ

Под утро, когда устанут
Влюбленность и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И вышьют воды со льдом,
Скажет хозяйка: «Хотите
Послушать старую запись?» —
И мой глуховатый голос
Войдет в незнакомый дом.
И кубики льда в стакане
Звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти
Начнет рисовать рука,
И будет бренчать гитара,
И будет крутиться пленка,
И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака...

И гость какой-нибудь скажет:
«От шуточек этих зябко,
Их автор напрасно думает,
Что сам ему черт не брат!»
«Ну что вы, Иван Петрович, —
Ответит ему хозяйка, —
Бояться автору нечего,
Он умер сто лет назад...»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС

Посвящается Н. Рязанцевой

*Жалеть о нем не должно.
...он сам виновник своих злосчастных
бег,
Терпя, чего терпеть без подлости —
не можно...
Н. Карамзин*

*...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
...Здесь мосты, словно кони, —
По ночам на дыбы!*

*Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —*



От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Здесь, над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Что пойдѣ — повтори!

Все земные печали
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!

...Мальчишки были безусы —
Прапоры и корнеты,
Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам: «Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»

Полковник я, а не прапор,
И в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.

И я восклицал: «Тираны!»
И я прославлял свободу.
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.

И в то роковое утро,
Отнюдь не угрозой чести,
Казалось, куда как мудро
Себя объявить в отъезде.

Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей славы моей лучистость
Пред солнечной ихней славой?!

...Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!

О, доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!

И все так же, не проще.
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданьи полки —
От Синода к Сенату.
Как четыре строки?!

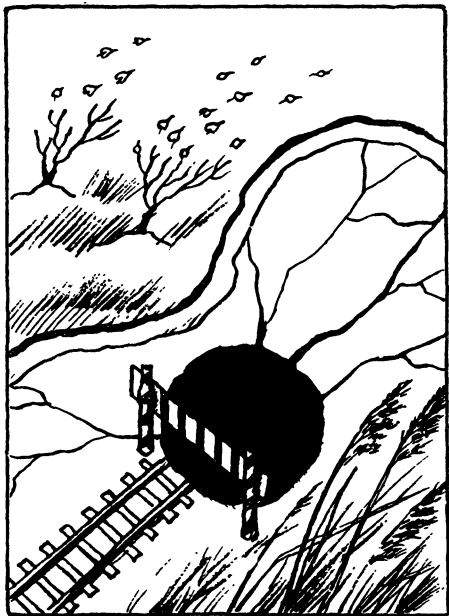
ЧЕРНОВИК ЭПИТАФИИ

Худо было мне, люди, худо...
Но едва лишь начнут про это,
Люди спрашивают — откуда,
Где подслушано, кем напето?

Дуралеи спешат смеяться,
Чистоплюи воротят морду...
Как легко мне было сломаться,
И сорваться, и спиться к черту!

Не моя это, вроде, боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба!

Сколько раз на меня стучали,
И дивились, что я на воле.



Ну, а если б я гнил в Сучане.
Вам бы легче дышалось, что ли?

И яснее б вам, что ли, было,
Где — по совести, а где — кроме?
И зачем я, как сторож в било,
Сам в себя колочусь до крови?!

И какая, к чертям, судьба?
И какая, к чертям, труба?
Мне б частушкой по струнам —
влет,
Да гитара, как видно, врет!

А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке, при попутном ветре,
Я бы пил молоко, ей-Богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте!

И шагал бы, как вольный цыган,
Никого бы нигде не трогал,
Я б во Пскове по-птичьи цыкал,
И округло б на Волге окал,

И частушкой по струнам — влет,
Да гитара, как видно, врет.
Лишь, мучительна и странна,
Все одна дребезжит струна!

Понимаю, что просьба тщетна,
Поминают — поименитей!
Ну, не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую, да помяните!

Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада,
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо!

И мучительна, и странна,
Все одна дребезжит струна,
И приладиться к ней, к ничьей
Пусть попробуют, кто ловчей!

А я не мог!

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И — свистите во все свистки!

И лопаются терпенья,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собаак.

Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе.
Но только напрасно ждут!

Я выбираю Свободу, —
Но не из боя, а в бой,

Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.

И это моя Свобода,
Нужны ли слова ясней?!
И это моя забота —
Как мне поладить с ней.

Но слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды,
Свобода казенной пайки,
Свобода глотка воды.

Я выбираю Свободу,
Я пью с нею нынче на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты.

Где вновь огородной тляпкой
Над спинами пляшет кнут,
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут.

Но славно звенит дорога,
И каждый приют, как храм,
А пуля весит немного —
Не больше, чем восемь грамм.

Я выбираю Свободу, —
Пускай груба и ряба,
А вы, валяйте, по капле
«Выдавливайте раба»!

По капле и есть по капле —
Пользительно и хитро.
По капле — это на Капри,
А нам — подставляй ведро!

А нам — подавай корыто,
И встанем во всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!

Я выбираю Свободу,
И знайте, не я один!
И мне говорит «свобода»:
«Ну, что ж, — говорит, —
одевайтесь
И пройдемте-ка гражданин».

ЗАНЯЛИСЬ ПОЖАРЫ

*...Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не грозит.*

Анна Ахматова. «Июль 1914»

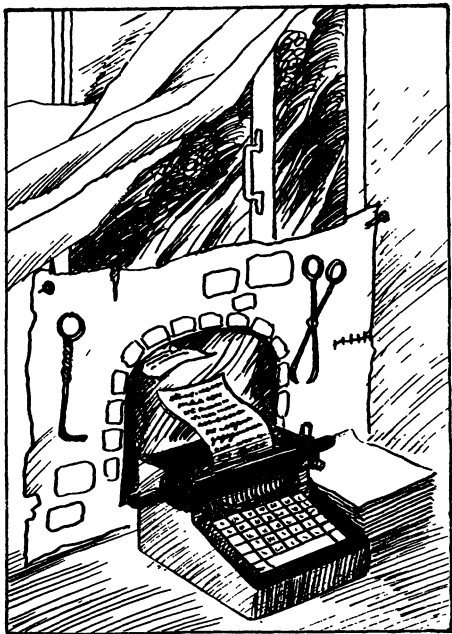
Отравленный ветер гудит и дурит
Которые сутки подряд.
А мы утешаем своих Маргарит,
Что рукописи не горят!
А мы утешаем своих Маргарит,
Что — просто — земля под ногами
горит,

Горят и дымятся болота.
И это не наша забота.

Такое уж время — весна не красна,
И право же, просто смешно,
Как опер в саду забивает «козла»,
И смотрит на наше окно,
Где даже и утром темно.
А опер усердно играет в «козла»,
Он вовсе не держит за пазухой зла,
Ему нам вредить неохота,
А просто — такая работа.

А наше окно во втором этаже,
А наша судьба на виду...
И все это было когда-то уже
В каком-то кромешном году!
Вот так же, за чаем, сидела семья,
Вот так же дымилась и тлела земля,
И гость, опьяненный пожаром,
Пророчил, что это недаром!

Пророчу и я, что земля неспроста
Кряхтит, словно взорванный лед,
И в небе серебряной тенью креста
Недвижно висит самолет.
А наше окно на втором этаже,



А наша судьба на крутом рубеже,
И даже для этой эпохи
Дела наши здорово плохи!

А что до пожаров — гаси не гаси,
Кляни окаянное лето —
Уж если пошло полыхать на Руси,
То даром не кончится это!

Усни, Маргарита, за прялкой своей.
А я — отдохнуть бы и рад,
Но стелится дым и дурит суховей,
И рукописи горят.
И опер, смешав на столе домино,
Глядит на часы и на наше окно.
Он, брови нахмутив густые,
Партнеров зовет в понятия.

И черные кости лежат на столе.
И кошка крадется по черной земле
На вежливых сумрачных лапах.
И мне уже дверь не успеть запереть,
Чтоб книги попрятать и воду согреть
И смыть керосиновый запах!



Когда я вернусь...
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли,
 по февральскому снегу,
По еле заметному следу — к теплу
 и ночлегу —
И вздрогнув от счастья, на птичий
 твой зов оглянусь —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь,
И прямо с вокзала, разделавшись
 круто с таможней,
И прямо с вокзала — в крошечный,
 ничтожный, раёшный —
Вернусь в этот город, которым
 казнюсь и клянусь.

Когда я вернусь,
О, когда я вернусь!..
Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно
соперничать небо,
И ладана запах, как запах
приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещится в
сердце моем —

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..
Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи —
Тот старый мотив — тот давнишний,
забытый, запетый.

И я упаду,
Побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань,
в колени твои!

Когда я вернусь.

А когда я вернусь?!

**ВО ВСЮ ДУРИЛ
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК**





БАЛЛАДА О СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Егор Петрович Мальцев
Хворает, и всерьез:
Уходит жизнь из пальцев,
Уходит из желез,

Из прочих членов тоже
Уходит жизнь его,
И вскорости, похоже,
Не будет ничего.

Когда нагрянет свора
Савеловских родных,
То что же от Егора
Останется для них?

Останется пальтишко,
Подушка, чтобы спать,
И книжка, и сберкнижка
На девять двадцать пять.

И таз, и две кастрюли,
И рваный подписной,
Просроченный в июле
Единый проездной.

И всё. И нет Егора!
Был человек, и нет!
И мы об этом скоро
Узнаем из газет.

Пьют газировку дети
И пончики едят,
Ему ж при диабете —
Все это чистый яд!

Вот спит Егор в постели
Почти что невесом,
И дышит еле-еле,
И смотрит дивный сон.

В большой красивом зале
Резону вопреки,
Лежит Егор, а сзади
Знамена и венки.

И алым светом залит
Большой его портрет.
Но сам Егор не знает,
Живой он или нет.

Он смаргивает мошек,
Как смаргивал живой.
Но он вращать не может
При этом головой.

И дух по залу спертый,
Как в общей душевой.
И он скорее мертвый,
Чем все-таки живой.

Но хором над Егором —
Краснознаменный хор
Краснознаменным хором
Поет: «Вставай, Егор!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну!

Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране советской нет.

Пойми, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать».

И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.

Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерина...

По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг!

Доступно кушать сласти
И газировку пить,
Лишь при советской власти
Такое может быть!

ВЕСЕЛЫЙ РАЗГОВОР

А ей мама, ну, во всем потакала,
Красной Шапochкой звала, пташкой
вольной,

Ей какава по утрам два стакана,
А сама чайку попьет — и довольно.

А как маму схоронили в июле,
В доме денег — ни гроша, ни бумаги,
Но нашлись на свете добрые люди:
Обучили на кассиршу в продмаге.

И сидит она в этой кассе,
Как на месте публичной казни.

А касса щелкает, касса щелкает,
Скушал Шапochку Серый Волк!

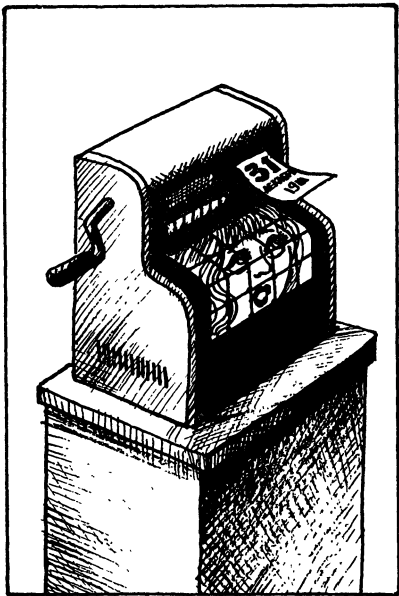
И трясет она черной челкою,
А касса: щелк, щелк, щелк.

Ах, веселый разговор!

Начал Званцев ей, завмаг, делать
 пассы:
 «Интересно бы узнать, что
 за птица?»
 А она ему в ответ из-за кассы:
 «Дожидаю, мол, прекрасного
 принца».

Всех отшила, одного не отшила,
 Называла его милым Алешей,
 Был он техником по счетным
 машинам,
 Хоть и лысый, и еврей, но
 хороший.

А тут как раз война, а он в запасе.
 Прокричала ночь и снова в кассе.
 А касса щелкает, касса щелкает,
 А под Щелковым — в щепки полк!
 И трясет она пегой челкою,
 А касса: щелк, щелк, щелк.
 Ах, веселый разговор...
 Как случилось — ей вчера ж было
 двадцать,
 А уж доченьке девятый годочек,



И опять к ней подъезжать начал
Званцев,
А она про то и слушать не хочет.
Ну и стукнул он, со зла, не иначе,
Сам не рад, да не пойдешь
на попятный,
Обнаружили ее в недостатке,
Привлекли ее по сто тридцать
пятой.

И на этап пошла по указу,
А там амнистия, и снова в кассу.
А касса щелкает, касса щелкает,
Засекается ваш крючок!
И трясет она рыжей челкою,
А касса: щелк, щелк, щелк.
Ах, веселый разговор!
Уж любила она дочку, растила,
Оглянуться не успела — той
двадцать!
Ой, зачем она в продмаг зачастила,
Ой, зачем ей улыбается Званцев?!
А как свадебку сыграли в июле.
Было шумно на Песчаной, на нашей,

Говорят в парадных добрые люди,
Что зовет ее, мол, Званцев
«мамашей».

И сидит она в своей кассе.
А у ней внучок — в первом классе.
А касса щелкает, касса щелкает,
Не копеечкам — жизни счет!
И трясет она белой челкою,
А касса: щелк, щелк, щелк.
Ах, веселый разговор...

**ВАЛЬС ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,
ИЛИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ,
КАК ПИТЬ НА ТРОИХ**

*Песня написана до повышения
цен на алкогольные напитки.*

Не квасом земля полита,
В каких не пытай краях:
Пол-литра — всегда пол-литра,
И стоит везде
Трояк!

Поменьше иль чуть побольше —
Копейки, какой рожон?!
А вот разделить по-Божьи —
Тут очень расчет нужен!

Один — размечает тонко.
Другой — на глазок берет.
И ежели кто без толка,
Всегда норовит — Вперед!

Оплаченный процент отпит
И —
Вася, гуляй, беда!
Но тот, кто имеет опыт,
Тот крайним стоит всегда.

Он — зная свою отметку —
Не пялит зазря лицо.
И выпьет он под конфетку,
А чаще — под сукнецо.

Но выпьет зато со вкусом,
Издаст подходящий стон,
И даже покажет знаком,
Что выпил со вкусом он!

И — первому — по затылку,
Он двинет, шутя, пинка.
А после
Он сдаст бутылку
И примет еще пивка.



И где-нибудь, между досок,
Блаженный, приляжет он.
Поскольку —
Культурный досуг
Включает здоровый сон.

Он спит, а над ним планеты —
Немеркнущий звездный тир.
Он спит.
А Его полпреды
Варганят войну и мир.

По всем уголкам планеты,
По миру, что сном объят,
Развозят Его газеты,
Где славу Ему трубят!

И грозную славу эту
Признали со всех сторон!
Он всех призовет к ответу,
Как только проспится Он!
Куется Ему награда.
Готовит харчи Нарпит.
Не трожьте его!
Не надо!
Пускай человек поспит!..

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

(Тонечка)

Она вещи собрала, сказала тоненько:
«А что ты Тоньку полюбил, так Бог
с ней, с Тонькою!

Тебя ж не Тонька завлекла губами
мокрыми,

А что у папы у ее топтун под окнами,

А что у папы у ее дача в Павшине,

А что у папы холуи с секретаршами,

А что у папы у ее пайки цековские,

И по праздникам кино с
Целиковскою!

А что Тонька-то твоя сильно

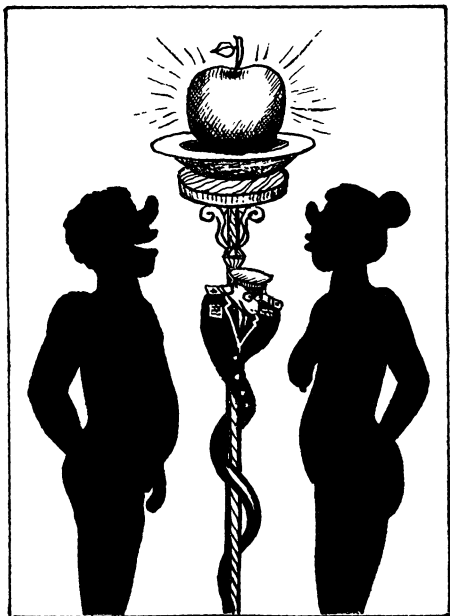
страшная —

Ты не слушай меня, я вчерашняя!

И с доскою будешь спать со
стиральнойю
За машину за его пресоанальную...

Вот чего ты хотел, и знаешь сам,
Знаешь сам, да стесняешься,
Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие, про материи...
А в глазах у тебя дача в Павшине.
Холуи да топтуны с секретаршами,
И как вы смотрите кино всей
семейкою,
И как счастье на губах —
карамелькою...»

Я живу теперь в дому — чаша полная,
Даже брюки у меня — и те
на молнии.
А вина у нас в дому —
как из кладезя,
А сортир у нас в дому — восемь
на десять...
А папаша приезжает сам к полуночи,



Топтуны да холуи тут все
по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков!
А как спать ложусь в кровать
с дурой-Тонькою,
Вспоминаю той, другой, голос
тоненький.
Ух, характер у нее — прямо
бешеный,
Я звоню ей, а она трубку вешает...
Отвези ж ты меня, шеф,
в Останкино,
В Останкино, где «Титан» кино,
Там работает она билетершею,
На дверях стоит вся замерзшая,
Вся замерзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая,
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!

ЛЕНОЧКА

Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту.
Красоточка-шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.

Судьба милиционерская —
Ругайся цельный день.
Хоть скромная, хоть дерзкая —
Ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо с шоферюгами
Ругайтесь цельный день.

Итак, стояла Леночка,
Милиции сержант,
Останкинская девочка,
Милиции сержант.
Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка —
Милиции сержант.

Как вдруг она заметила —
Огни летят, огни.
К Москве из Шереметьева
Огни летят, огни.
Ревут сирены зычные
Прохожий — ни-ни-ни!
На Лену заграничные
Огни летят, огни!

Дает отмашку Леночка,
А ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка,
А ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку,
Колеса — вжик да вжик!
Дает она отмашечку,
А ручка не дрожит.

Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход.
Хоть и была исправная,
Но замедляет ход.
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот
Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.

А в той машине писанный
Красавец эфиоп,
Глядит на Лену пристально
Красавец эфиоп.
И встав с подушки кремовой
Не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему ей
Красавец эфиоп!

А утром мчится нарочный
ЦК КПСС
В мотоциклетке марочной
ЦК КПСС.
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез —
Пожалте, Л. Потапова,
В ЦК КПСС!



А там, на Старой площади,
Тот самый эфиоп,
Он принимает почести,
Тот самый эфиоп,
Он чинно благодарствует
И трет ладонью лоб,
Поскольку званья царского
Тот самый эфиоп!

Уж свита водки выпила,
А он глядит на дверь.
Сидит с моделью вымпела
И все глядит на дверь.
Все потчуют союзника,
А он сопит, как зверь,
Но тут раздалась музыка
И отворилась дверь:

Вся в тюле и в панбархате
В зал Леночка вошла.
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла.
А сам красавец царственный
Ахмет Али-паша
Воскликнул — вот так

здравствуйте! —
Когда она вошла.

И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет,
Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет —
Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмет,
Шахиню Л. Потапову
Узнал весь белый свет!

ЛЕГЕНДА О ТАБАКЕ

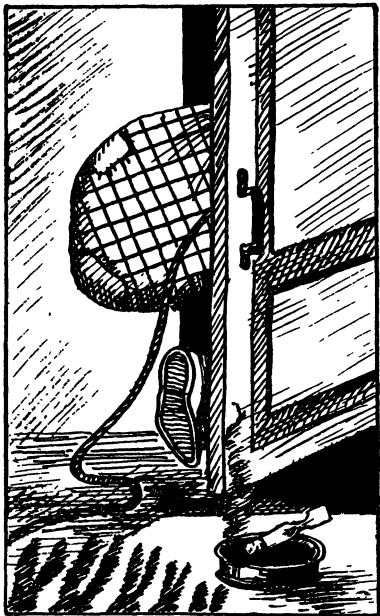
Посвящается памяти замечательного человека Даниила Ивановича Ювачева, придумавшего себе странный псевдоним — Даниил Хармс, — писавшего прекрасные стихи и прозу, ходившего в автомобильной кепке и с неизменной трубкой в зубах, который действительно исчез, просто вышел на улицу и исчез. У него есть такая пророческая песенка:

*«Из дома вышел человек
С веревкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел, и все глядел вперед,*

*И все вперед глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел,
И вот однажды, поутру,
Вошел он в темный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез...»*

Лил жуткий дождь,
Шел страшный снег,
Вовсю дурил двадцатый век,
Кричала кошка на трубе.
И выли сто собак.
И, встав с постели, человек
Увидел кошку на трубе,
Зевнул и сам сказал себе —
Кончается табак!
Табак кончается — беда,
Пойду куплю табак,
И вот... но это ерунда,
И было все не так.

Из дома вышел человек
С веревкой и мешком
И в дальний путь,



И в дальний путь
Отправился пешком...
И тут же, проглотив смешок.
Он сам себя спросил —
А для чего он взял мешок?
Ответьте, Даниил!
Вопрос резонный, нечем крыть,
Летит к чертям строка
И надо, видно, докурить
Остаток табака...

Итак, однажды человек
Та-та-та с посошком...
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел, и все глядел вперед,
И все вперед глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел...
А может, снова все начать,
И бросить этот вздор,
Уже на ордере печать
Оттиснул прокурор...

Начнем иначе — пять зайчат
Решили ехать в Тверь,
А в дверь стучат,
А в дверь стучат —
Пока не в эту дверь.

Пришли зайчата на вокзал,
Прошли зайчата в зале,
И сам кассир, смеясь, сказал:
«Впервые вижу зайца!»

Но этот чертов человек
С веревкой и мешком,
Он и без спроса в дальний путь
Отправился пешком,
Он шел и все глядел вперед,
И все вперед глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды, поутру,
Вошел он в темный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез.

На воле — снег, на кухне — чад,
Вся комната в дыму,
А в дверь стучат,
А в дверь стучат,
Но этот раз — к нему!

О чем он думает теперь,
Теперь, потом, всегда,
Когда стучит ногою в дверь
Чугунная беда?!

А тут ломается строка,
Строфа теряет стать,
И нет ни капли табака
И т а м — уж не достать!
И надо дописать стишок,
Пока они стучат...
И значит, все-таки — мешок.
И побоку зайчат.
(А в дверь стучат!)
В двадцатый век,
(Стучат!)
Как в темный лес,
Ушел однажды человек
И навсегда исчез!..
Но Парка нить его тайком

По-прежнему прядет,
А он ушел. За табаком.
Он вскорости придет.

За ним бежали сто собак
И кот по крышам лез...
Но только в городе табак
В тот день как раз исчез,
И он пошел в Петродворец,
Потом пешком в Торжок...
Он догадался, наконец,
Зачем он взял мешок...

Он шел сквозь свет
И шел сквозь тьму,
Он был в Сибири и в Крыму,
А опер каждый день к нему
Стучится, как дурак...
И много, много лет подряд
Соседи хором говорят:
«Он вышел пять минут назад,
Пошел купить табак...»

**ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ,
ИЛИ, КАК БЫЛО
НАПИСАНО НА ВОРОТАХ
БУХЕНВАЛЬДА, «JEDEM
DAS SEINE»
(«КАЖДОМУ — СВОЕ»)**

Начинается день и дневные дела,
Но треклятая месса уснуть не дала,
Ломит поясницу и ноет бок,
Бесконечной стиркою дом пропах...
«С добрым утром, Бах», — говорит
Бог,
«С добрым утром, Бог, — говорит
Бах, —
С добрым утром!..»

...А над нами с утра, а над нами
с утра,
Как кричит воронье на пожарище, —
Голосят рупора, голосят рупора —
С добрым утром, вставайте,
товарищи!

А потом, досыпая, мы едем в метро,
В электричке, в трамвае, в автобусе.
И орут, выворачивая нутро,
Рупора о победах и доблести.

И спросонья бывает такая пора,
Что готов я в припадке отчаянья
Посшибать рупора, посбивать рупора.
И услышать прекрасность молчания...

Под попреки жены, исхитрись-ка,
изволь
Сочинить переход из це-дура в
ха-моль,
От семейных ссор, до долгов и склок,
Никуда не деться и дело — швах,

«Но не печалься, Бах», — говорит
Бог,
«Да уж ладно, Бог, — говорит Бах, —
Да уж ладно!..»

...А у бабки инсульт, и хворает жена,
И того не хватает, и этого,
И лекарства нужны, и больница
нужна,
Только место не светит покедова,

И меня в перерыв вызывают
в местком,
Ходит зав по местному присядкою,
Раз уж дело такое, то мы подмогнем,
Безвозвратною ссудим десяткою

И кассир мне деньги отслюнит
по рублю,
Ухмыльнется ухмылкой
грабительской.
Я пол-литра куплю, валидолу куплю,
Двести сыра и двести
«любительской»...



И еще раз налью, и еще раз налью,
И к соседу схожу за добавкою...

Он снимает камзол, он сдирает
парик,
Дети шепчутся в детской: «Вернулся
старик»,
Что ж — ему за сорок, немалый срок,
Синева, как пыль, на его губах..
«Доброй ночи, Бах», — говорит Бог.
«Доброй ночи, Бог, — говорит Бах, —
Доброй ночи!..»

РУССКИЕ ПЛАЧИ

На лесные урочища,
На степные берлоги
Шли Олеговы полчища
По дремучей дороге.
И на марш этот глядячи,
В окаянном бессилье,
В голос плакали вятичи,
Что не стало России!

Ах Россия, Рассея —
Ни конца, ни спасенья!

...И живые, и мертвые, —
Все молчат, как немые.
Мы Иваны Четвертые —
Место лобное в мыле!

Лишь босой да уродливый,
Рот беззубый разиня.
Плакал в церкви юродивый,
Что пропала Россия!

Ах, Рассея, Россия —
Все пророки босые!

Горькой горестью мечены
Наши тихие плачи —
От Петровской неметчины
До нагайки казачьей!
Птица вещая — троечка,
Тряска вечная, чёртова!
Не смущайся ни столечка,
Объявилась ты, троечка,
Чрезвычайкой в Лефортово!

Ах, Россия, Рассея —
Чем набат не веселье?!

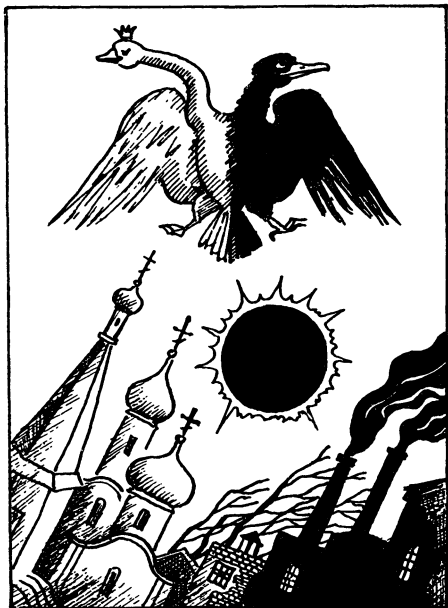
Что ни год — лихолетье,
Что ни враль, то Мессия!
Плачет тысячелетье

По России — Россия!
Выкликает проклятья...

А попробуй, спроси —
Да была ль она, братие,
Эта Русь на Руси?

Эта — с щедрыми нивами,
Эта — в пене сирени,
Где рожь родится счастливыми
И отходят в смиреньи.
Где как лебеди — девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Словом Божьим и хлебом.

... Листья падают с деревца
В безмятежные воды
И звенят, как метелица,
Над землей хороводы.
А за пряхкой беседы,
На крыльце полосатом
Старики-домоседы,



Знай, дымят самосадам,
Осень в золото забрана,
Как икона в оклад...

Значит — все это наврано,
Лишь бы в рифму, да в лад?
Чтоб, как птицы на дереве,
Затихали в грозу.
Чтоб не знали, но верили
И роняли слезу,
Чтоб начальникам кланялись
За даренную пядь,
Чтоб грешили и каялись,
И грешили опять?..

То ли сын, то ли пасынок,
То ли вор, то ли князь —
Разомлев от побасенок,
Тычешь каждого в грязь!
Переполнена скверною
От покрышки до дна...

Но ведь где-то, наверное,
Существует — Она?
Та — с привольными нивами,

Та — в кипеньи сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смиреньи...

Птица вещая, троечка,
Буйный свист под крылом!
Птица, искорка, точка
В бездорожье глухом.
Я молю тебя:
— Выдюжи!
Будь и в тленьи живой,
Чтоб хоть в сердце, как в Китеже,
Слышать благовест твой!..

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

*Люди, я любил вас — будьте
бдительны!*

Юлиус Фучек.
*(любимая цитата советских
пропагандистов).*

Я люблю вас — глаза ваши, губы
и волосы.
Вас, усталых, что стали,
до времени, старыми,
Вас, убогих, которых газетные
полосы
Что ни день — то бесстыдными
славят фанфарами!
Сколько раз вас морочили, мяли,
ворочали,

Она лишь зубы стиснула —
И снова за дела.

А мужа в Потьме льдиною
Распутица смела.
Она лишь брови сдвинула —
И снова за дела.

А дочь в больнице с язвою,
А сдуру запил зять...
И, думая про разное, —
Билет забыла взять.

И тут один — с авоською
И в шляпе, паразит! —
С ухмылкой со свойскою
Геройски ей грозит!

Он палец указательный
Ей чуть не в нос сует:
— Какой, мол, несознательный
Еще, мол, есть народ!

Она хотела высказать:
— Задумалась, прости!



А он, как глянул искоса,
Как сумку сжал в горсти
И — на одном дыхании
Сто тысяч слов подряд!

(«Чем в шляпе, тем нахальнее, —
Недаром говорят»!)

Он с рожею канальскою
Гремит на весь вагон:
— Что с кликой, мол, китайскою
Стакнулся Пентагон!

Мы во главе истории,
Нам лупят в лоб шторма,
А есть еще, которые
Всё хотят задарма!

Без нас — конец истории,
Без нас бы мир ослаб!
А есть еще, которые
Всю хотят цап-царап!

Ты, мать, пойми: неважно нам,
Что дурость — твой обман.

Но — фигурально — каждому
Залезла ты в карман!

Пятак — монета малая,
Ей вся цена — пятак.
Но с неба каша манная
Не падает за так!

Она любому лакома,
На кашу каждый лих!..

И тут она заплакала,
И весь вагон затих.

Стоит она — печальница
Всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается,
В автобусной петле.

Бегут слезинки скорые,
Стирает их кулак...
И вот вам — вся история,
И ей цена — пятак!

Я люблю вас, — глаза ваши, губы
и волосы,
Вас, усталых, что стали,
до времени, старыми,
Вас, убогих, которых газетные
полосы
Что ни день, — то бесстыдными
славят фанфарами.
И пускай это время в нас ввинчено
штопором,
Пусть мы сами почти до предела
заверчены,
Но оставьте, пожалуйста,
бдительность операм!
Я люблю вас, люди!
Будьте доверчивы!

ГОРЕСТНАЯ ОДА СЧАСТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Посвящается Петру Григорьевичу Григоренко.

Когда хлестали молнии в ковчег,
Воскликнул Ной, предупреждая
страхи:
«Не бойтесь, я счастливый человек.
Я человек, родившийся в рубахе!»

Родившийся в рубахе человек!
Мудрейшие, почтеннейшие лица
С тех самых пор уже который век
Напрасно ищут этого счастливца!

Который век все нет его и нет,
Лишь горемыки прут без перебоя,
И горячат умы, и застыт свет,
А Ной наврал, как видно,
с перепоя!

И стал он утешеньем для калек.
И стал героем сказочных
забавок, —
Родившийся в рубашке человек,
Мечта горластых повивальных
бабок!

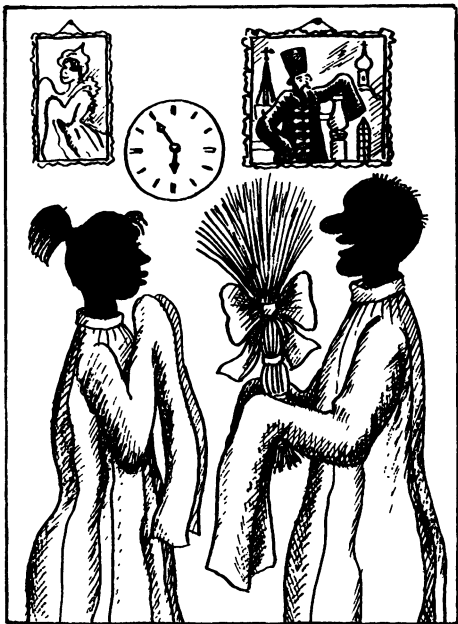
А я гляжу в окно на грязный снег,
На очередь к табачном киоску,
И вижу, как счастливый человек
Стоит и разминает папироску.

Он брал Берлин! Он, правда, брал
Берлин!
И врал про это скучно и нелепо,
И вышибал со злости клином клин,
И шифер с базы угонял «налево».

Вот он выходит в стужу из кино,
И сам не зная про свою особенность,
Мальчонке покупает «эскимо»
И лезет в переполненный автобус.

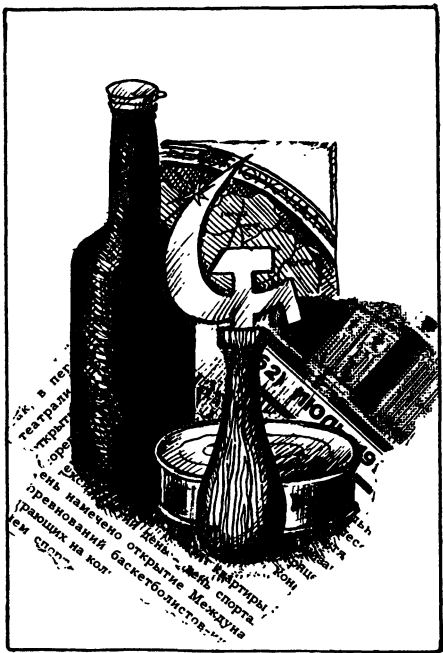
Он водку пил и пил одеколон.
Он песни пел и женщин брал
нахрапом!
А сколько он повкалывал кайлом,
А сколько он протопал по этапам!

И сух был хлеб его, и прост ночлег!
Но все народы перед ним —
во прахе.
Вот он стоит — счастливый
человек,
Родившийся в с м и р и т е л ь н о й
рубаше!



ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ





**ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
КЛИМА ПЕТРОВИЧА
КОЛОМИЙЦЕВА,
МАСТЕРА ЦЕХА, КАВАЛЕРА
МНОГИХ ОРДЕНОВ,
ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА**

**О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ
ВЫСТУПАЛ НА МИТИНГЕ В
ЗАЩИТУ МИРА**

У жене моей спросите, у Даши,
У сестре ее спросите, у Клавки,
Ну, ни капельки я не был поддавши,
Разве только что маленько,
с поправки!

Я культурно проводил воскресенье,
Я помылся и попарился в баньке,

Ну, сажусь я порученцу на ноги.
Он — листок мне.
Я и тут не перечу.
«Познакомься, — говорит, —
по дороге
Со своей выдающейся речью!»
Ладно, мыслю, набивай себе цену,
Я в зачтениях — мастак, слава
Богу!
Приезжаем, прохожу я на сцену
И сажусь со всей культурностью
сбоку.
Вот моргает мне, гляжу,
председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!
Выхожу я,
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:
Израильская, — говорю, —
военщина
Известна всему свету!
Как мать, — говорю, — и как
женщина



Требую их к ответу!
Который год я вдовая —
Все счастье — мимо.
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как
женщина!..

Тут отвисла у меня, прямо,
челюсть —
Ведь бывают же такие
промашки! —
Этот сучий сын, пижон-порученец,
Перепутал в суматохе бумажки!
Я не знаю — продолжать или
кончить,
В зале вроде ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не
корчит,
А кивает мне своей головою!
Ну, и дал я тут голопом по фразам
(Слава Богу, завсегда все и то же),
А как кончил —
Все захлопали разом,
Первый тоже — лично — сдвинул
ладони.

Я ж за правду хлопочу, не за цацки!
Как хотите, на доске, на бумаге ль,
Цельным цехом отмечайте, не лично!
Мы ж работаем на весь наш
соцлагерь,
Мы ж продукцию даем на отлично!
И совсем мне, — говорю, — не до смеху,
Это чье ж, — говорю, — указанье,
Чтоб такому выдающему цеху
Не присваивать почетного званья?

А мне говорят
(все друзья говорят —
И Фрол, и Пахомов с Тонькою):
«Никак, — говорят, — нельзя, —
говорят, —
Уж больно тут дело тонкое!»

А я говорю (матком говорю!):
Пойду, — говорю, — в обком, —
говорю!

А в обкоме все то же:
«Не суйся!»

Не долдонь, как пономарь
поминание!
Ты ж партийный человек, а не зюзя.
Должен все ж таки иметь понимание!

Мало, что ли, пресса ихняя треплет
Все, что делается в нашенском доме.
Скажешь — дремлет Пентагон?
Нет, не дремлет!
Он не дремлет, мать его, он на
стреме!»

Ну, завелся я тут с пол-оборота:
Так и будем сачковать, так и будем?!
Мы же в счет восьмидесятого года
Выдаем свою продукцию людям!

А мне говорят
«Ты чего, — говорят, —
Орешь, как пастух на выпасе?
Давай, — говорят, — молчи, —
говорят, —



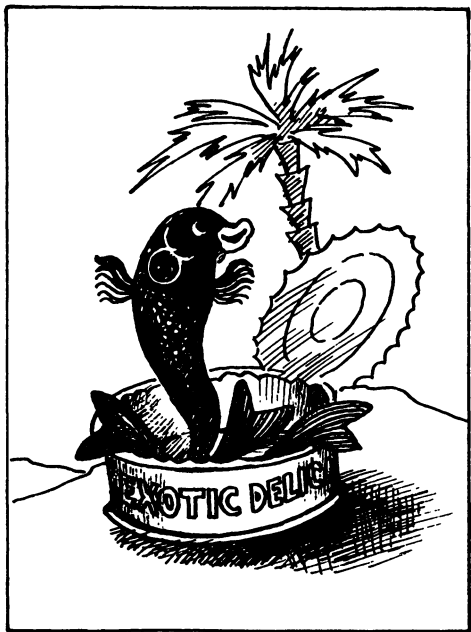
Прямо думал — до нутра
просолюся!
А мотались мы тогда по Алжиру
С делегацией ЦК профсоюза.

Речи-встречи, то да се, кроем
НАТО,
Но, вконец оголодал я, катаясь.
Мне ж лягушек ихних на дух не
надо!
Я им, сукиным детям, не китаец!

Тут и Мао, сам-рассам, окосел бы!
Быть бы живу, говорю, не до жира!
И одно мое спасенье —
Консервы,
Что мне Дарья в чемодан
положила!

Но случилось, что она с переляку,
Положила мне одну лишь салаку.

Я в отеле их засратом, в «Паласе»,
Запираюсь, как вернемся, в палате,



НОЧНОЙ ДОЗОР

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч (и все — похожие)
Вдоль по лунной идут дорожке.
И случайные прохожие
Кувыркаются в «неотложки».

И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

На часах замирает маятник.
Стрелки рвутся бежать обратно:

Одинокий шагает памятник,
Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по
Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию.
Он выходит на место лобное.
«Гений всех времен и народов!»
И как в старое время доброе
Принимает парад уродов!

И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!



И будут бить барабаны!..
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!

ФАРС-ГИНЬОЛЬ

Все засранцы, все нахлебники,
Жрут и пьют, воду месят,
На одни, считай, учебники
Чуть не рупь уходит в месяц!
Люська-дура заневестила,
Никакого с нею сладу!
А у папеньки-то шестеро,
Обо всех подумать надо —

Надо и того купить, и сего купить,
А на копейки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там
двугривенный,
А где ж их взять?!

Люське-дурочке все хаханьки,
Все малина ей, калина,
А Никитушка-то махонький
Чуть не на крик от колита!
Подтянул папаня помочи,
И с улыбкой незавидной
Попросил папаня помощи
В кассе помощи взаимной.

Чтоб и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там
двугривенный,
А где ж их взять!

Попросил папаня слезно и
Ждет решенья, нет покоя...
Совещание шло серьезное
И решение такое:
«Подмогнула б тебе касса, но
Каждый рупь — идет на стройку!
Посему тебе отказано,
Но сочувствуем, поскольку

Тут двугривенный, там
двугривенный.
А где ж их взять?!

ОБЛАКА

Облака плывут, облака.
Не спеша плывут, как в кино
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака,
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку еще двести грамм!



Облака плывут, облака.
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...
А мне четвертого — перевод
И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидят в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

ПРО МАЛЯРОВ, ИСТОПНИКА И ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Чувствуем с напарником — ну и ну,
Ноги прямо ватные, всё в дыму,
Чувствуем — нуждаемся в отдыхе,
Что-то нехорошее в воздухе.

Взяли «жигулевского» и «дубняка»,
Третьим пригласили истопника.
Приняли, добавили еще раза,
Тут нам истопник и открыл глаза...

На ужасную историю
Про Москву и Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари.

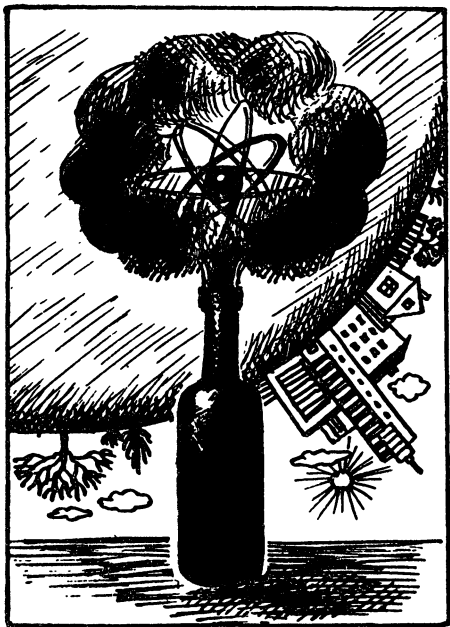
Все теперь на шарике вкривь и
вкось,
Шиворот-навыворот, набекрень,
И что мы с вами думаем день —
ночь,
А что мы с вами думаем ночь —
день.

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу — невпроворот,
Это гады-физики на пари,
Раскрутили шарик наоборот.

И там, где полюс был, там тропики,
А где Нью-Йорк — Нахичевань,
А что люди мы, а не бобики,
Им на это начихать!

Рассказал нам все это истопник,
Вижу, мой напарник, ну, прямо
сник,
«Раз такое дело — гори огнем!
Больше мы малярничать
не пойдем!»

Взяли в поликлинике бюллетень,
Нам башку работою не морочь!



ПРАВО НА ОТДЫХ

Первача я взял ноль-восемь, взял
халвы.
Пару «рижского» и керченскую
сельдь
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть.
Ах, у психов жизнь, так бы жил
любой:
Хочешь — спать ложись,
хочешь — песни пой!
Предоставлено им вроде литера,
Кому от Сталина, кому от Гитлера!
А братан уже встречает в
проходной.
Он меня за опоздание корит,
Говорит: «Давай скорее по одной.

Тихий час сейчас у психов», —
говорит.

Шизофреники — вяжут веники.
А параноики — рисуют нолики,
А которые просто нервные,
Те спокойным сном спят, наверное.

А как приняли по первой первача,
Тут братана прямо бросило в тоску,
Говорит, пойдет зарежет главврача,
Что тот, сука, не пустил его в
Москву!

А ему ж в Москву не за песнями,
Ему выправить надо пенсию,
У него в Москве есть законная
И еще одна есть — знакомая.

Мы пивком переложили, съели
сельдь,
Закусили это дело косхалвой,
Тут братан и говорит мне: «Сень, а
Сень,
Ты побудь здесь за меня
денек-другой!

И по выходке, и по роже мы
Завсегда с тобой были схожими,
Тебе ж нет в Москве
вздоха-продыха,
Поживи здесь, как в доме отдыха».

Тут братан снимет тапки и халат,
Он мне волосы легонько ворошит,
А халат на мне — ну, просто
в аккурат,
Прямо вроде на меня халат пошит!

А братан — в пиджак, да и к поезду.
А я булабочкой — деньги к поясу,
И иду себе на виду у всех,
А и вправду мне — отдохнуть не грех!

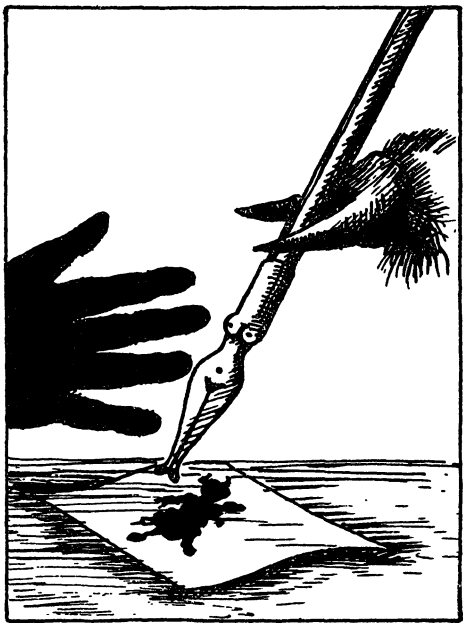
Тишина на белом свете, тишина,
Я иду и размышляю, не спеша, —
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и кончить ВПШ.

Ах, у психов жизнь, так бы жил
любой,

ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ

*(три стихотворения и начало
романа)*





ПАДЕНИЕ ПАРИЖА

Tu ge Mapassanu

Скажите, вам бывает страшно?
— Ты ищешь страх? Открой роман,
Читай: «От Эйфелевой башни
Бежит в испуге Мапассан...»
Она — проклятие Парижу,
Она — улыбка сатаны.
Париж — фиглирствующий рыжий,
Сосуд греха, дитя вины.
И к полю Марсову в восторге
Спешат кареты парижан.
Скорей раскройте двери моргов!
Париж — на лезвии ножа!
Он славит Эйфеля, как Бога
Спасайтесь от его чудес,

От смертоносного и злого
Нагромождения желез!
Не знаю — долго или скоро,
Но знаю: страшный день грядет,
Когда на согрешивший город
Всем телом башня упадет.
Вам страшно? — Нет, ничуть не
страшно, —
— Ваш смех исчезнет навсегда,
Когда осколки этой башни
Вонзятся в ваши города.
Исчезнет Франция, как правда.
Нет, вы не спятили в ума,
Но вас никто не понимал.
— Скажите, вам бывает страшно?
— Ты ищешь страх? Открой роман,
Читай: «От Эйфелевой башни
Бежит, спасаясь, Мапассан».

МАРТОВСКИЕ СТИХИ

Растаял шепотной растяпа снег,
Сегодня мне приснившийся во сне,
Архип осип и простудился Осип,
И не поймешь: весна ль, зима ли,
осень,

Но что не лето — это-то уж точно,
И воробьев — сплошные многоточья.

А снег исчез, и не было его,
Быть может, он и вовсе не рождался.
А я-то не на шутку испугался!
Так, значит, не случилось ничего?

След самолетный через плат небес —
Какая обозримая нелепость.

И значит — так и не было чудес,
И целый год не наступало лето,
Земля была грязна, полуодета,
И мучала меня полуодетость,
Неряшливость и заспанность земли.
Хотелось вишен и немного ласки.
А некто мне протягивал рубли:
Мол, отступись от невеселой сказки.
Да ты и не сумеешь рассказать!

И впрямь, я не сумею рассказать...
И стало скучно и обыкновенно.
И зеркало посмотрит мне в глаза
И укорит за что-то непременно.

Я в доме снимаю зеркала,
Позакрываю двери на засовы,
А эта сказка все-таки была,
Да уж навряд ли возвратится снова;
Сегодня я проснулся в полвторого,
Увидел снег: он плакал из угла.

МАЙСКИЕ СТИХИ

Уж это не случится никогда:
Я помню иней, синие сосульки,
Декабрь лихорадил переулки
В укутанных в сугробы городах.

У всех — температура сорок два,
Текут носы, и красные гортани
Все чаще чуют чайной ложки вкус.
Декабрь. Не первый на моем веку.
В тот день, я помню, встал довольно
рано

И сразу же почувствовал: сейчас
Произойдет, не чудо, ну так что-то...
Спешили люди, верно, на работу.
Такой декабрь я видел в первый раз:

На крышах, тротуарах, проводах,
Заборах, подоконниках и трубах
Сидели птицы синие, и зубы
Ломило тихим предвкушеньем чуда,
А это не случилось никогда.

ЕЩЕ РАЗ О ЧЕРТЕ

(начало романа)

Это не художественное произведение. Описывать природу, бороться со словом «который» и деепричастными оборотами — на все эти забавы у меня нет ни времени, ни желания. В моем распоряжении семь дней, и за эти семь дней я должен, я обязан рассказать, изложить, записать всю эту историю — так, как я ее помню.

Полчаса тому назад мне позвонила Лидия Алексеевна из парткома и сладким голосом, с придыханиями, сообщила:

— Николай Андреевич, могу вас обрадовать, вы в списке — собирайтесь!..

«В списке» — это значит, что я благополучно прошел сто тысяч проверок, и через десять дней еду с писательской группой в туристскую поездку в Швецию.

Сегодня одиннадцатое августа (это надо же, такое совпадение!), вылетаем мы в Стокгольм двадцатого, девятнадцатое число — день пропаший — с утра мы должны явиться в «Интурист», нам выдадут наши иностранные паспорта, объяснят, как полагается вести себя за границей в капиталистической стране — не плевать, не сорить, вставлять, когда разговариваешь с дамой (особенно — пожилой) и — самое главное — ничем не восхищаться, помнить о достоинстве советского человека и не набрасываться на всякое шмотье.

Потом нам обменяют наши родные рубли на шведские кроны — десять рублей наличность, по официальному курсу это получится что-то около шестидесяти крон. Потом некоторым из нас (не всем!) нужно будет еще явиться в партком Союза Писателей, где, с каждым в отдельности будет особый разговор, потом придется поехать в ГУМ купить, для отвода глаз, сувениры — матрешек, значки, почтовые марки и прочую муру. А двадцатого, в десять часов утра, сереб-

ристый лайнер «ИЛ-18» сделает «ту-ту», взмахнет своими серебристыми крыльями и возьмет курс на столицу королевства Швеции город Стокгольм. Учитывая разницу во времени — в десять часов утра двадцатого августа 197... года я Николай Андреевич Зимин, буду в Москве, и я же, Николай Андреевич Зимин, двадцатого августа 197... года в десять часов утра буду в Стокгольме. Так сказать, существование во времени и в пространстве — любимейший сюжетец для всех научных фантастов, от мистера Айзека Азимова до Алеши Крахта. Для Алешки особенно, поскольку он постоянно прячется от алиментов и долгов.

Ну вот, а в двенадцать часов утра двадцатого августа 197... года (это уже по шведскому времени) я, все тот же Николай Зимин, буду сидеть на ихнем шведском стуле, в ихнем шведском полицейском управлении и объяснять дуракам чиновникам (чиновники везде дураки), что я прошу в ихнем шведском царстве-государстве политического убежища. Именно — в первый же день, сразу

же по прилете, чтобы испортить этим сукиным детям, этим благополучным мерзавцам, дорогим моим спутникам по туристской поездке, предвкушаемые ими радости. Кстати, хотя я буду просить права политического убежища, но отнюдь не по политическим мотивам. С Советской властью отношения у меня вполне нормальные, даже можно сказать — хорошие, и остаться на Западе собираюсь я по причинам сугубо личным. Те, у кого хватит терпения дочитать эту историю до конца, — поймут.

Итак, приступаю, как говорили в старину, со страхом и слезами. Люди рассудительные могут, разумеется, задать очевидный вопрос — а почему я, собираясь остаться на Западе, не отложу своего писания до той поры, когда времени у меня будет хоть залейся. Вопрос резонный, но, во-первых — кто может поручиться заранее, что все произойдет успешно, а во-вторых (если все произойдет успешно), то сохранится ли во мне сегодняшнее отчаяние, достанет ли у меня решимости и духа рассказать эту ис-

торию так, как она произошла на самом деле, не щадя себя и не поливая дерьмо розовым сиропом?

Рукопись эту я отпечатаю в двух экземплярах — один куда-нибудь запрячу под Москвой (я знаю одно такое место), а второй экземпляр попытаюсь взять с собой — туристов, как правило, шмоняют по-настоящему, когда они возвращаются.

Итак — телефон я отключил, Яшеньку запер в ванной, на входных дверях повесил записку «Просьба не беспокоить» и предупредил лифтершу — сегодня (еще одно совпадение!) дежурит Катя — чтоб никого ко мне не пускала.

Поехали!..

1

В тот день я возвращался домой в замечательно-прекрасном настроении, потому что я достал «Бычки в томате». Зашел в рыбный отдел нашего знаменитого магазина «Комсомолец»,

чтобы купить Яшеньке какой-нибудь дрызг и увидел бычки в томате. Сперва я их даже не узнал в лицо — такая это теперь редкость. Я взял целых пять банок. Ну, а уж после этого ноги, как говорится, сами понесли меня в соседнюю дверь — в винный отдел, где мне опять-таки повезло — очередь была сравнительно небольшой — три часа дня — те, которым необходимо было опохмелиться, уже опохмелились, а добавлять или начинать по новой еще рано. Я приобрел поллитра «Московской» и еще взял бутылку вина — на тот случай, если Наталье захочется выпить.

Этот день — одиннадцатое августа 197... года — вообще проходил с самого начала под знаком мелких удач. Встал я довольно поздно, позвонил Наталье — ее маман с французским прононсом сообщила, что Наташи нет дома, но что она просила мне сказать, что непременно (удивительно прекрасно выговаривала она это слово — «нэ-пре-мен-н-ноо!») заедет ко мне часа в три-четыре. Я спросил — закончила

ли Наталья работу, и маман ответила чинно и горделиво:

— Предполагаю, что да. Она стучала на машинке всю ночь.

После этого я принял душ, побрился и поехал в Дом Литераторов пообедать и узнать новости. Обед был, как всегда, вполне смрадный, а новости не заслуживающие. От стола к столу ходила, с красными пятнами на щеках, Тамара Лисицкая, присаживалась на минутку и свистящим шопотом сообщала, что на очередном секретариате будут песочить величайшего поэта всех времен и народов Ваську Полонского (бывшего Тмаркиного мужа) за какие-то, якобы крамольные, стихи, которые Васька читал на творческом вечере. Но это была, так сказать, дежурная новость, обязательная и почти ежедневная, как сводка погоды. Всякий раз, когда Васька печатал в «Правде», или каком-нибудь подобном печатном органе прочувственно-трубные вирши, все его бывшие и настоящие жены немедленно принимались распускать слухи о грозящих Ваське не-

приятностях и неизбежной скорой опале. Сам же Васька на это время отбывал в творческую командировку — иногда в Сибирь, а иногда и подальше, в Австралию или Южную Америку.

После обеда я зашел в бильярдную, сыграл три партии с Сенечкой Кауфманом и выиграл к него в последнем шаре. Маркер Иван Николаевич был на седьмом небе от счастья. За последние годы Сенечка не проигрывал почти никому. Он приходил в бильярдную к самому открытию и торчал там весь день, даже обедать не ходил, а питался бутербродами с вареной колбасой, которые приносил из дома. Играл он партию по десятке и ежедневный выигрыш его доходил до пятидесяти рублей, из которых он давал Ивану Николаевичу пятерку. Но маркер Иван Николаевич был человеком справедливым и азартным, жучков, вроде Сенечки, ненавидел до глубины души и готов был охотно пожертвовать пятеркой, лишь бы увидеть Сенечкино поражение.

Я играю средне, слабее Сенечки очков

на пятнадцать, но в тот день — один к одному — прорезалась у меня какая-то совершенно невероятная кладка.

В последней партии, когда на столе оставались два шара — свой и туз-единках — Сенечка развел шары по коротким бортам и тряхнув лысой головой (он все еще никак не может позабыть того далекого времени, когда у него были волосы) ласково предложил:

— Разошлись?

Отыгрыш, разумный отыгрыш, был и впрямь только одни — бить своего клопшоссом и менять шары местами. Иван Николаевич подмигнул мне и одобрительно кивнул. Ничья с Сенечкой тоже была кое-что.

Но я, ощутив прилив какого-то сладкого бешенства (бывают у меня такие приливы), возненавидев не только самого Сенечку, но даже бутерброд с вареной колбасой, который он держал в оттопыренной левой руке, небрежно сказал:

— Ну, зачем же, Сенечка?! Туза — дуплетом — к себе, в левый угол!..

Иван Николаевич неодобрительно

хмыкнул. Я чуть приподнял кий, ударил своего под низ коротким щелчком и туз, через весь стол, прокатился и послушно упал в левую лузу.

...Сенечка расставался с десяткой, как с родным, горячо любимым братом. Он еще долго канючил, уговаривал меня сыграть «разгонную», но я только высокомерно усмехнулся и сообщил, что у меня есть железное правило — никогда, ни при каких обстоятельствах, не играть в один день больше трех партий.

— А завтра придешь? — хищно спросил Сенечка и скривил и без того кривоватый нос.

— Возможно, — туманно ответил я и улыбнулся в ответ на благодарный взгляд Ивана Николаевича.

На Сенечкину десятку я позволил себе роскошь, взял такси на площади Восстания и доехал до метро «Аэропорт». У входа в метро уже слонялись (с утра пораньше!) два закадычных друга, два заклятых врага, два половых психопата из нашего писательского кооперативного дома — Седых и Карельский,

клеили проходящих баб, искали подругу на вечерок.

— Привет! — сказал я. — Как дела на половом фронте? Наступление продолжается?

— Иди, иди, служивый, не проедайся! — раскатывая «р-р», как горячую горошину, добродушно сказал Карельский. — Твоя Софи Лорен уже ждет тебя в садике. И, между прочим, из авоськи у нее торчит ананас!

— Везет же людям! — вздохнул Седов.

Я ускорил было шаги, но вспомнил, что Яшенька у меня уже сутки как не кормлен и можно себе представить, какой погром учинил он в квартире. Мне, конечно, давно следовало бы выгнать этого негодяя к чертовой матери. Даже среди моих ближайших друзей и знакомых не было второй такой сволочи, как этот кот. Но мне принес и подарил его Павлик, подобрал где-то на улице и принес. И тут уж, стало быть, ничего я поделать не мог. Приходилось терпеть.

Я помню, когда мы еще жили вместе,

и Павлику было лет пять — он постоянно тащил в дом со двора всех, как говорила Лена, униженных и оскорбленных. Но у товарища Хаймовича, у мистера-месс-синьора Хаймовича, у Наумчика Хаймовича оказалась, видите ли, такая тонкая душевная организация, он пребывал постоянно в таком невероятном творческом напряжении, рифмуя «кровь-любовь» и «вечер-встречи», что Лена с Павликом ходили по дому на цыпочках, оберегая его душевный покой, — и поэтому, когда Павлик в какой-то подворотне нашел тщедушного замурзанного котенка, он принес его мне. За несколько месяцев этот заморыш, как царевич Гвидон, превратился в огромного, наглого и злобного кота, который по любому поводу и без повода орал благим матом и крушил все, что попадалось ему на пути.

В первый год после того, как Лена ушла от меня к месье Хаймовичу (переселилась со второго этажа на третий), я некоторое время носился с идеей — поменять квартиру. В нашем районе полно

кооперативных домов — писателей, киношников, циркачей. Но наш дом считается лучшим, наверное потому, что во дворе у нас садик и потому еще, что строился наш дом первым — и строился основательно, без халтуры, на совесть. Охотников на мою двухкомнатную квартиру можно было найти сколько угодно, только свистни. Но потом я подумал — какого черта?! Почему это, собственно, я должен куда-то переезжать? Пускай болит голова у Хаймовичей. В конце концов, не я бросил Лену, а она ушла от меня. К тому же, Павлик, возвращаясь из школы, нет-нет да и забежит ко мне поболтать, проведать Яшеньку, обменяться последними спортивными новостями. А бывает, что он заходит и вечером, особенно, если по телевидению — футбол. Тогда мы садимся рядом на диван, пьем чай, дружно болеем за тбилисское «Динамо» и ругаем «Спартак». Я обнимаю Павлика за худые, мальчишески-острые плечи и стараюсь не думать о том, что через какой-нибудь час он встанет, потянется, улыбнется и скажет:

— Ничего игрушка была! Ну, я пошел, папа, привет!

У него Ленины глаза — огромные, черные, умеющие как-то мгновенно озаряться радостью или выражать такое откровенное, такое неподдельное огорчение, что все те годы, которые мы прожили вместе (а прожили мы немного-немало почти девять лет) я, по-моему, не сказал ей ни одного грубого слова. Ну, если даже и говорил, то, во всяком случае, тут же раскаивался.

И может быть именно поэтому, я с такой страстью, с таким остервенением матерился и выкрикивал самые дикие непристойности в то утро, когда Лена сказала, что она от меня уходит.

Мы завтракали на кухне, Павлика Лена проводила в школу, а я поднялся почти мертвый — накануне в Доме литераторов мы обмывали очередную (если не ошибаюсь — пятую) государственную премию классика узбекской литературы Файзуллы Яшенова. Файзулла — седой узкоглазый сморчок — велик во всех жанрах, и посему за банкет-

ным столом сидели поэты, прозаики, драматурги — ненасытная шатия литературных поденщиков, буйные головушки, сочинявшие за Файзуллу все, что угодно, лишь бы платили деньги. Я представлял на этом сборище кино — на студии «Узбекфильм» ставилась двухсерийная эпопея по сценарию Яшенова «Дорога к счастью» — о том, как под мудрым водительством и так далее — расцвела Голодная степь. Сценарий писал, разумеется, я — но благоразумно отказался ставить свое имя рядом с именем Файзуллы. Так для меня выгоднее во всех отношениях — и утверждается сценарий значительно быстрее и легче, и денег больше. Если подписываем вдвоем — то деньги пополам, если подписывает один классик — почти весь гонорар идет мне.

Надо отдать Файзулле должное — банкет он закатил на славу, не поскупился и, когда утром я попытался сползти с постели, меня шатануло так, что я едва не присел на копчик.

В голове у меня прыгали какие-то

синие черти, а язык, сухой и шершавый, во рту не помещался.

Я сидел за кухонным столом с полузакрытыми глазами и пил, чашку за чашкой, черный кофе.

Лена, в ситцевом халатике, сидела напротив и рассеянно брякала чайной ложечкой по блюду.

— Умоляю тебя, — сказал я, — перестань стучать ложкой.

— Коля, — сказала Лена странным, каким-то как бы не своим голосом, — мне нужно с тобой поговорить.

Я попытался усмехнуться:

— Другого времени ты найти не могла?

— Другого времени не будет! — резко сказала Лена и снова брякнула ложечкой по краю блюда. — Я не собираюсь читать тебе мораль или упрекать за что-то. Каждый человек живет так, как он умеет. И хочет. Ты сделал все, решительно все, чтобы я перестала тебя любить. И не только любить — уважать. И вместе нам быть больше ни к чему.

— Я просил тебя, кажется, — сказал я, — не стучать ложкой.

— Извини... Тем более — а мне кажется, что ты давно уже об этом догадался — я полюбила другого человека...

— Хаймовича? — спросил я.

— Да, Хаймовича, — сказала Лена с вызовом, — а что?!

— Ничего, ничего, — сказал я, глядя на всю эту сцену словно со стороны, и, помолчав, совершенно искренне рассмеялся. — Я просто не понимаю, как можно любить человека по фамилии Хаймович! Хаймович — это же из анекдота! Идут по улице два китаецца и один говорит другому — «послушайте, Хаймович...»

— Ну знаешь, — перебила Лена, — лучше любить человека из анекдота, чем человека из...

Она внезапно замолчала и закусила губу. У нее есть такая детская привычка (и у Павлика тоже) закусывать нижнюю губу.

Я подождал продолжения, поднял глаза на Лену и увидел, что она плачет.

Но это меня не тронуло, ничуть, скорее даже наоборот.

— Что же ты не договариваешь, сука?! — тихо, очень тихо спросил я, и знакомое сладкое бешенство окатило меня всего, как холодная вода, даже голова перестала болеть. — Что же ты замолчала, б... подзаборная, дерьмо собачье?! Лучше жить с человеком из анекдота, чем с человеком из... откуда, сука? Из бардака? Из КГБ?! Откуда?

Лена, грохнув табуреткой, вскочила и выбежала из кухни.

— Учти, дерьмо, что Павлика я тебе не отдам! — уже не сдерживаясь больше (в смысле громкости), крикнул я ей вдогонку.

Я кричал после этого еще, наверное, около часа. Кричал, даже не интересуясь тем, слышит Лена меня или не слышит, кричал от бессилия, злости и чувства вины, кричал, чтобы выкричаться. Потом, сорвав голос, исчерпав все бранные и оскорбительные слова и все их хитроумные сочетания, я встал, открыл холодильник, достал бутылку «Выборовой» и

налил себе полный чайный стакан. Мне все равно необходимо было опохмелиться.

Самое нелепое, что это я, я и никто другой привел Хаймовича к нам в дом. Пожалел падлу! В автомобильной катастрофе у него погибли жена и дочь, ровесница Павлика, сам чудом остался жив и ходил прихрамывая, опираясь на палку и изображая на своей мерзкой интеллигентной харе всю вековечную скорбь всех неистребимых колен израилевых. Вот я и зазвал его как-то — посидеть, поболтать, попить чайку или чего-нибудь посущественнее. Я просто подумал, что и Лене, и Павлику будет не так одиноко в те месяцы, когда я объезжаю свои среднеазиатские вотчины, тем более, что Хаймович оказался довольно занятым рассказчиком, а стихи читал и вовсе хорошо. Чужие, разумеется, не свои. Свои стихи читать Хаймович стеснялся и, по-моему, правильно делал. Впрочем, тут я не судья, я стихов не люблю и не понимаю, и меня всегда смешит, когда какой-нибудь старый пер-

дила, пузатый и лысый, на вопрос — чем он занимается — отвечает — я поэт. Все равно, как если бы он публично признался в том, что занимается онанизмом.

В то же утро, после объяснения с Леной, я допил «Выборову», побросал вещички в чемодан и улетел в Алма-Ату.

Никаких определенных дел у меня там не было, но, во-первых, я знал, что стоит мне только появиться на киностудии, как непременно набежит какой-нибудь казахский классик, задумавший очастливить человечество народной драмой на сюжет — у богатого бая было три сына, а у бедного кузнеца красавица дочь... А во-вторых, я просто люблю этот город, Алма-Ату. Особенно хорош он по вечерам, когда прохладный ветер с гор выдувает из города горячий и пыльный дневной степной ветер, когда стихает уличный шум и вдруг становится слышно, как негромко, вечно, бормочут арыки, как на окраинах, там, где еще сохранились дувалы, начинают, на всю ночь, до утра, перебрехиваться собаки, а небо

опускается низко-низко, и с Алма-Аты слезает вся ее европейски-советская подмалевка, и хочется назвать ее снова городом Верным, маленьким русским фортом Верным на далекой азиатской окраине, где скрещиваются караванные пути в сказочные края — Китай, Персию, Индию.

Вернулся я в Москву месяца через два, загоревший, пополневший, обожравшийся шашлыками и пивом, опившийся крепчайшим казахским самогоном.

Лифтерша Катя, скорбно поджав губы, поздоровалась со мной кивком головы и протянула мне почтовый конверт, в котором лежали ключи.

Дома был образцовый порядок — все прибрано, все чисто, хотя — из-за закрытых окон, должно быть, — и в комнатах, и на кухне стоял тот тухловатый, нежилой дух, каким обычно встречают постояльцев гостиничные номера. Даже не капала вода в ванной — очевидно, в мое отсутствие приходил слесарь и починил неисправный кран. И молчал телефон.

Я первым делом открыл окна, пустил воду из всех кранов, зажег повсюду свет, включил телевизор на полную мощность и, не переодевшись, не умывшись с дороги, принялся названивать киношным знакомым, чтоб немедленно приходили, приносили что выпить, приводили баб.

Так началась моя холостая жизнь.

Это уже потом, много позже, Павлик приволок мне Яшеньку, и как-то сама собой, из всех баб, согревавших на недолгое время мою одинокую постель, выделилась, высветилась, осталась Наташа. Но о ней потом, о ней мне придется говорить еще подробно и долго.

...Итак, я купил рыбный дрызг для Яшеньки, пять банок бычков в томате, бутылку водки и бутылку вина — и направился, испытывая некоторую томность от мелких удач этого дня — домой.

Опять пошел дождь. Кстати, обстоятельство это следует запомнить, так как в дальнейших событиях непрерывные дожди этого лета будут иметь некоторое значение.

Как-то, выходя из дома, я спросил лифтершу — не Катю, другую — что за погода, и она, вздохнув, ответила:

— Ну какая может быть, Николай Андреевич, погода?! Какая может быть погода, когда вон даже и по радио говорили, что цельный день, с утра и до вечера, одни сплошные кратковременные дожди!..

...Наташи в садике не было. Я решил, что она, верно, спряталась от дождя, и зашел в парадное.

Лифтерша Катя сидела за своим столиком у телефона и что-то, как всегда, шила. Лена называла ее «Мисс Диор». Катя и вправду обшивала всех модниц из нашего и соседних домов. Объяснялось это чрезвычайно просто — как правило, новые туалеты покупались по случаю — в комиссионных магазинах, или у знакомых, или у знакомых знакомых, покупались по суровому завету садовода Мичурина: «мы не можем ждать милостей от природы» — и поэтому Катя постоянно что-нибудь сужала, или расширяла, или удлиняла, или укорачивала.

— Добрый день, Николай Андреевич, — сказала Катя. Она воткнула иголку во что-то воздушно-пестрое, вытащила из кармана стеганой кацавейки (она почему-то все время мерзла) мои ключи, а из-под стула — толстую, туго набитую парусиновую авоську, из которой и впрямь — не соврал Карельский — торчал зеленый хвост ананаса.

— Наталья Николаевна забегала и просила вам передать.

— А где она сама?

— А я не знаю. Она очень торопилась куда-то, сказала, что будет вам попозже звонить.

Я поднялся на лифте на свой этаж (в конце концов я же плачу, черт возьми, за лифт) и, еще открывая дверь, услышал пронзительный телефонный звонок.

Я рванул дверь, отшвырнул ногой бросившегося на меня из какого-то угла Яшеньку, и, роняя авоськи, схватил телефонную трубку.

— Коля, — раздался задыхающийся Наташин голос. — Это я.

— Где ты?
— Я звоню тебе из автомата...
— Ну так приходи.
— Нет, я уже далеко. Я тебя ждала...
— Я в магазин забегал.
— Слушай, — помедлив, спросила Наташа, — тебе Катя отдала?

— Да.
— Все?
— Что ты имеешь в виду? Ананас?
Наташа фыркнула:
— Господи, ну при чем тут ананас?!
Я имею в виду... В общем, проверь, я подожду.

Я достал из парусиновой авоськи ананас и два завернутых в газетную бумагу пакета — потолще и потоньше.

— Все в порядке, — сказал я в телефон, — спасибо и... А почему все-таки ты меня не дождалась?

— Я не могла, — сказала Наташа, и почему-то повторила: — я говорю из автомата... Ты понимаешь, я сидела в садике, ждала тебя, и тут вдруг какой-то тип...

— Какой еще тип? — спросил я,

сразу же сатанея. — Он что — приставал к тебе, что ли?

— Нет, нет, нет! — быстро сказала Наташа и понизила голос. — Наоборот. Он как-то подчеркнуто делал вид, что он меня не замечает. Очень подчеркнуто. И вообще он мне сильно не понравился.

— А какой он из себя?

— В том-то и дело, что никакой. Без примет.

— Ну, и что же?

— Я не знаю.

— А почему он тебе не понравился?

— Не знаю!

— А в чем он был?

— По-моему, в чем-то сером. Некто в сером. В сером костюме. В серой шляпе. Очень весь какой-то из себя чистенький... Черт, мне уже стучат... Я позвоню тебе еще раз, попозже...

И вдруг Наташа вскрикнула:

— Ой, Коля!.. Слушай, я вспомнила — у него, у этого типа, был в руке букетик цветов... Ну, сейчас, сейчас... Я позвоню!..

Я медленно, прищурившись и отто-

пырив губы, положил на рычаг телефонную трубку. Потом я услышал за своей спиной какое-то урчание, и, обернувшись, увидел, что эта сволочь — Яшенька — уже выскреб из продуктовой авоськи свой рыбный дрызг и жрет его, разбросав по всей комнате.

Матерясь, я загнал этого сукина сына в ванную комнату, откуда он немедленно принялся истошно вопить и царапать когтями дверь. Чтобы не слышать всего этого безобразия, я включил радио. Теперь — вопи, скотина, пока не сдохнешь. Потом я отнес на кухню и поставил в холодильник пять банок бычков в томате. Кстати, попутно, мне открылась тайна появления сей роскоши в нашем задрипанном «Комсомольце» — на наклейке, внизу, стоял штамп — «Срок хранения 1-ое августа 197... года». Стало быть, за полтора месяца до того, как эти банки начнут корчиться, вспучиваться и смердеть, — их срочно перебросили из валютных «Березок» и партийно-правительственных распределителей в открытую продажу.

Ну, что ж, и на том спасибо — могли и до последнего дня дотянуть.

Я зажег газ, поставил на огонь чайник и вернулся в комнату — в большую комнату, служившей мне одновременно и кабинетом, и гостиной, и столовой, и носившую название большой, в отличие от второй, малой, где была спальня.

...Тем, кто (надеюсь!) будет читать эту рукопись, может показаться, что я все время отвлекаюсь и рассказываю о мелочах, не имеющих существенного значения, — но, поверьте мне, поверьте, что именно мелочи, вернее то, что представляется нам — по недомыслию, по небрежности — мелочами, — из них-то, в итоге, и образуется наша судьба, они-то, мелочи, и складываются, как цветные камушки, в картинку — и картинка эта, вынь ты из нее потом хоть один камушек, станет вдруг не только неполной, а, может статься, и вовсе лишённой смысла.

...Толстый пакет из наташиной авоськи я не стал разворачивать. Там, я знал, были четыре экземпляра сценария

«Огни над морем» о нефтянниках Каспия, авторы М. Ахмедов и Н. Зимин. В последний год к республикам Средней Азии, которые мне уже слегка осточертели, я присоединил и начал осваивать республики Закавказья.

Сценарий «Огни над морем» был, что называется, обречен на успех. Товарищ Мамед Ахмедов являлся не только одним из секретарей Азербайджанского союза Писателей, членом ЦК и депутатом Верховного Совета, но и еще (самое главное!) заместителем министра культуры. Так что сценарий был обречен на успех, а фильм — если будет фильм — на провал.

Впрочем, сценарии подобного рода, как правило, принимаются, оплачиваются, а затем под каким-нибудь благовидным предлогом сплавляются в архив. Директора киностудий (хотя и назначаются на эту должность чаще всего, за очень редким исключением, всякие номенклатурные идиоты) деньги считать умеют. А тут расчет самый простой — лучше заплатить десять тысяч за сцена-

рий и не портить отношений с товарищем Ахмедовым, чем выбрасывать сотни тысяч на постановку никому не нужного фильма.

...Толстый пакет я положил на письменный стол — завтра или послезавтра я отвезу его в Управление по производству художественных фильмов, и постараюсь забыть, как страшный сон.

Покончив с делами государственной важности, я развернул, наконец, второй пакет. Там была, отпечатанная в одном экземпляре (второй экземпляр должен был оставаться у Наташи) повесть не повесть, а так, нечто, некое сочинение, которое называлось «Именем Российской Федерации». Автор Н. Хомич. От фамилии этой, разумеется, разил псевдоним за сто шагов. Перелистал человек подшивку старых газет, наткнулся на имя прославленного футбольного вратаря и, посмеиваясь, подписал этим именем свое сочинение... А сама история, рассказанная товарищем Н. Хомичем, была довольно-таки гнусная и довольно-таки обыкновенная. В большом про-

мышленном городе (что-нибудь вроде Куйбышева) идет судебный процесс — слушается дело о хищениях на мебельной фабрике. Местные власти, при поддержке и даже науськивании столичной прессы, придают процессу для всеобщей острастки показательный характер — большинству обвиняемых вlepили от семи до двенадцати лет, а директора фабрики и главного бухгалтера приговорили к высшей мере социальной защиты — расстрелу.

Вот и вся история. Вернее, та ее часть, что происходила у всех на глазах, наяву, на свету, на сцене — а Н. Хомич рассказывает — и весьма картинно, как кажется мне, рассказывает — обо всем, что творилось в тени, за кулисами. И выясняются такие подробности, такие действующие лица вытаскиваются на подмостки, что тут уж, как говорится, без поллитра или без Агаты Кристи не разберешься. В замаске оказываются все — от обкома партии и Горисполкома до Прокуратуры и Управления милиции. Все начальнички, большие и малые, все

беззаветные слуги народа имели в этом деле свой пропит, свою долю — всем по сниженным ценам, а то и вовсе бесплатно, изготовлялась мебель для квартир и загородных дач, выписывалось — под видом образцов — заграничное кухонное оборудование и ставились финские бани. Рассказывает этот Н. Хомич и о том, как один из следователей — из молодых, видно, да ранних, — после неприятного разговора в Прокуратуре попал, случайно, под машину и умер, бедняга, не приходя в сознание, в Обкомовской больнице.

Описывается и такая подробность (вот они, мелочи-то, вот они!), как директора фабрики и главного бухгалтера заверяют — не прямо, а при помощи намеков и пауз — что если будут они себя вести на суде достойно и сдержанно, вину признают, никаких имен не назовут, — то отделаются они незначительным, может быть даже условным сроком.

Потому-то так страшно, по-звериному закричал директор фабрики в зале

суда, услышав слово «расстрел», и его тут же, чуть не волоком, утащила охрана, а главный бухгалтер упал в обморок.

Вот такое сочиненьице, не читая, перелистывал я — за Наташей можно не проверять, ошибок она не делает, — когда из прихожей раздался звонок.

— Наталья! — подумал я, но все-таки, на всякий случай, открыл верхний ящик письменного стола и сунул туда рукопись Хомича. Потом я пригласил радио — немедленно стало слышно, как вопит и бесчинствует Яшенька — и пошел открывать дверь.

Уже снимая цепочку, я спросил:

— Наташка?

После короткой паузы незнакомый, слегка пришепетывающий тенорок, сказал:

— Извините, Николай Андреевич, к вам можно?

Я открыл дверь.

Передо мной стоял человек чуть выше среднего роста, с каким-то на удивление невыразительным, стертым, как у провинциального актера лицом, в сером

костюме, в белой рубашке с галстуком, в серой шляпе, в левой руке он держал букетик цветов, а правую протянул мне навстречу и, улыбаясь, представился:

— Чекмарев!..

2

— Чекмарев! — улыбаясь, представился человек в сером костюме.

Я ничего не ответил — просто молча выжидательно посмотрел на него.

— Надеюсь, Николай Андреевич, я не помешал? — спросил Чекмарев и снова как-то доверительно, как-то так, словно он не сомневался в том, что мы понимаем, должны понимать друг друга с полуслова, широко улыбнулся. Я еще, помню, подумал, что он, наверное, очень любит улыбаться — уж больно у него были красивые, белые и ровные зубы.

— А в чем, собственно, дело? — сказал я, пытаясь хоть как-то, хоть для порядка, проявить строптивость. — Я, как раз, сел работать и...

— Ну, ничего, ничего! — добродушно сказал Чекмарев. — Я вас долго не задержу.

И решив, видимо, что с предварительными церемониями покончено, он уверенно прошел мимо меня — а вернее бы даже сказать — сквозь меня — в переднюю, снял шляпу, аккуратно приладил ее на крючок вешалки, причесал перед зеркалом волосы, поправил галстук, обернулся.

— Вазочка у вас. Николай Андреевич, какая-нибудь не найдется?

— Вазочка? — тупо спросил я. — Какая еще вазочка? Для чего?

— Для гвоздик, — сказал Чекмарев, — а то ж они завянут без воды, жалко.

Я усмехнулся:

— А вы гвоздики эти — вы их мне принесли, что ли?

Чекмарев, прежде чем ответить, не спеша, внимательно и цепко оглядел большую комнату, покачал почему-то головой, сел на диван, — на то самое место, где я сижу обычно с Павликом, ког-

да мы смотрим телевизор, вытащил из кармана пачку «Беломора», закурил. — и только тогда ответил:

— Ну, не специально — вам. Просто — купил. Я люблю цветы. Без цветов и дом — не дом... Вы поставьте их в вазочку какую-нибудь, я подожду...

Чувствуя себя полнейшим кретинном, я снял с книжной полки медный кувшин — мы его купили когда-то с Леной в Тбилиси, взял цветы — в омерзительно-мокрой, расползающейся газетной бумаге — и отправился на кухню.

Чайник, о котором я, разумеется, позабыл — выкипел и едва не распаялся.

Я погасил газ, отвернул кран над мойкой, подставил кувшин, и долго стоял, бессмысленно глядя на текущую воду.

Мне было страшно.

... Сейчас, когда я обо всем этом пишу, мне, вероятно, еще страшнее — страшнее хотя бы уже потому, что сегодня я знаю — чем это кончилось, каких трагических последствий был предвестником этот визит, эти цветочки... Вот уж, воистину, цветочки!

Но тогда, конечно же, ничего этого знать я не мог, и не сумел бы даже объяснить, почему мне было страшно. Ну, в самом деле — ну, явился какой-то тип, нахал, принес гвоздики... Скорее всего нормальный псих, графоман (мало ли их шляется по нашему дому?!), который пришел предлагать соавторство или жаждет рассказать историю своей жизни: «Если бы кто-нибудь мою жизнь описал, какой бы роман получился!»

Но мне, повторяю, было страшно. То ли передалась мне Наташина тревога, задыхающийся ее голос в телефонной трубке, то ли где-то, в глубине души, я все-таки смутно догадывался — кто этот человек, откуда он, из какого давнего, забытого, забитого наглухо прошлого явился он, чтобы предъявить права на мою жизнь.

Когда я вернулся в большую комнату, Чекмарев стоял у окна, курил, задумчиво и рассеянно хмурился.

— Дождь, — бесцветно сказал он, — все дождь и дождь. Так и не начнется лето никак. — Он помолчал.

— Мне, знаете, кого жалко? — снова заговорил он, глядя не на меня, а в окно. — Тех чудаков, которые дачи построили — выбросили люди деньги на ветер!.. Вы, кстати, Николай Андреевич, прогноза погоды на ближайшие дни не слышали?

— Нет, — сказал я.

Я поставил кувшин с гвоздиками на круглый столик у телефона и таким нарочито-деловым тоном, от которого мне самому стало противно, спросил:

— Ну, так я слушаю вас, товарищ Чекмарев, чем, как говорится, обязан?

Чекмарев, наконец, обернулся.

Пока я возился на кухне, он зачем-то снял галстук, расстегнул ворот рубашки, и я, помню, подивился тому, что у него такая загорелая шея — белое лицо и до черноты загорелая шея.

— Чем обязаны?! — весело засмеялся Чекмарев. — Да ничем вы мне, Николай Андреевич, дорогой вы мой, не обязаны. Просто один человек просил меня, при случае, зайти и передать вам привет — что я и делаю.

— А кто? — небрежно спросил я.

Но Чекмарев, улыбаясь, ухитрился ответить еще небрежнее:

— Юрий Леонидович.

У меня перехватило дыхание, но пытаясь оттянуть время — неизвестно, зачем мне это было нужно? — я сдвинул брови и всем своим видом неуклюже изобразил мучительную работу памяти:

— Юрий Леонидович?!

И тут произошло нечто совершенно несусветное, безобразное, невероятное — невероятное настолько, что я и до сих пор не берусь утверждать — было ли это на самом деле, или только примерщилось мне, причудилось.

Чекмарев усмехнулся, не спеша, в развалочку подошел ко мне, прищурился и отчетливо, негромко сказал:

— Ну, хватит! Хватит горбатого-то лепить!

Мне показалось, что он хочет меня ударить, я поднял руку, и тогда он, действительно, резко, коротко, без замаха, ударил меня, ткнул кулаком в солнечное сплетение.

Повторяю, что не берусь утверждать — было ли все это на самом деле, сказал ли Чекмарев эти слова, ударил ли меня. Может быть, гнусный страх, липкое ожидание того, что это может случиться, что Чекмарев может так поступить, — повергли меня внезапно в беспомытное наваждение, в провал.

Но боль, между прочим, была, это уж точно. Боль была — и даже такая сильная, что я и впрямь потерял на несколько секунд сознание.

... Когда я очнулся, я лежал на диване, а Чекмарев сидел рядом, держал меня за руку — считал пульс и говорил озабоченно и сочувственно:

— Экий вы, право, нервный, Николай Андреевич! Такой здоровый мужчина, а нервы — ни к черту! Пьете много, не бережете себя — нельзя так!..

Он опустил мою руку, встал, и принялся совершенно по-хозяйски, как будто не он, а я был у него в гостях, хлопотать — принес из спальни подушку и подsunул мне ее под голову, принес из кухни стакан чая и поинтересовался:

— Вам послаще?

Я лежал, полузакрыв глаза, глядя и не глядя, как уверенно и ловко распорядится он в моей квартире. Он положил мне в чай три куска сахара, что-то еще сказал, но я не слышал.

Юрий Леонидович!

А я-то верил, а я надеялся, что тогда, на вокзале, в Куйбышеве, у мягкого вагона скорого поезда Куйбышев-Москва, мы виделись с ним в последний раз, в самый последний раз, и что никогда, никогда больше не появится он в моей жизни. Он пришел меня проводить, принес мне на дорогу бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Был октябрьский вечер — холодно, ветрено, — а он стоял в черном пижонском пальто с чуть приподнятым воротником, с непокрытой головой — и при свете вокзального фонаря седые его волосы казались серебряным шлемом, словно стихиям — дождю, ветру — прикасаться к его особе было не разрешено и не положено. Он и вправду был так барственно хорош, что

проходившие мимо женщины невольно оглядывались на него.

Мы познакомились в гостинице «Интурист». Я приехал в Куйбышев по заданию газеты «Советская Россия», где я в ту пору иногда подрабатывал, подхалтуривал — приехал освещать в центральной печати показательный процесс — дело о хищении на мебельной фабрике.

Поезд мой из Москвы пришел рано утром, номер в гостинице был мне забронирован заранее, я привел себя в порядок и спустился вниз, в ресторан — позавтракать.

Вот тут-то и подошел Юрий Леонидович.

Он подошел к моему столику, представился, сел и сказал — просто, без всяких вступлений:

— Видите ли, Николай Андреевич, мы бы хотели, чтобы ваша работа здесь протекала, так сказать, в самом тесном контакте с нами.

— С вами? — спросил я, слегка настороженно и недружелюбно, так как

принял за такого пожилого и преуспевающего члена коллегии адвокатов. — С кем — с вами?

Юрий Леонидович улыбнулся, быстро достал из кармана хорошо сшитого пиджака кожаную книжечку-удостоверение, раскрыл ее — и делая вид, что не заметил, как у меня несколько дернулась голова, повторил:

— С нами, Николай Андреевич! Дело это запутанное и сложное, сам черт ногу сломит! А вы человек творческий, с эмоциями... Нет, нет, вы, упаси бог, не подумайте, что мы собираемся вам диктовать — как и о чем писать... Просто, как я уже сказал, поработаем в тесном контакте, вы нам поможете, мы вам поможем. Он спрятал удостоверение и слегка наклонился через столик ко мне:

— Здесь, в гостинице, нам встречаться больше не стоит. Будете ежедневно, в семь часов вечера, приезжать по следующему адресу. Нет, нет, вы не записывайте, адрес простой, запомнить легко...

И вот, в течении двух недель, пока

длился процесс, я приезжал каждый вечер на мерзкую нежилую квартиру, обставленную уродливо-пышной мебелью, таким ампиром «времен культа личности».

Юрий Леонидович встречал меня неизменно одним и тем же вопросом:

— Ну-с, каковы впечатления?

Я коротко докладывал о своих впечатлениях или, точнее сказать, — о том, какую информацию собираюсь отправить в «Советскую Россию». Юрий Леонидович слушал, кивал головой, изредка делал какое-нибудь замечание, и затем, в остальные полтора-два часа, к разговору о процессе мы больше не возвращались, а беседовали на самые разные, чаще всего — художественные, материи — о литературе, о театре, о кино. Юрий Леонидович был большим любителем кино. Особенно восхищался он фильмом «Летят журавли» и жалел только, что на роль героини взяли не Ларионову, а Самойлову.

Как-то раз, прощаясь, я спросил его:

— Скажите, а где у вас, в Куйбы-

шеве, можно хорошо поужинать? А то меня от этой гостиничной кухни уже мутит...

— У нас в Куйбышеве? — повторил Юрий Леонидович и засмеялся. — Я ведь здесь, Николай Андреевич, такой же гость, как и вы. Откомандирован временно из Москвы — навести порядок!..

...Я никак не ждал, что он придет меня провожать. Когда я уже стоял в тамбуре, а поезд трянуло и медленно поплыла платформа назад, он коротко и вполне серьезно сказал, ткнув пальцем в перчатке на зажатую у меня в руке бутылку коньяка:

— Напейтесь.

Что я, между прочим, и сделал.

Было это, примерно, за год до того, как я познакомился с Леной. Сначала я вспоминал о Юрие Леонидовиче довольно часто, раза два мы даже встретились на каких-то просмотрах в Доме Кино, здоровались издали, обменивались ничего не стоящими улыбками. Я старался не думать о нем, не знать — мало ли живет людей в Москве — и вообще на

белом свете — знакомых мне в лицо и по имени, судьбы которых никогда, ни при каких обстоятельствах не могут, не должны, не обязаны пересечься с моей судьбой.

Да, было, случилось однажды — сел играть в карты с чертом и вроде бы даже не проиграл, остался при своих, но больше не сяду. Хватит, позабавились.

...Зазвонил телефон.

Я приподнялся, но Чекмарев строго махнул рукой:

— Лежите, лежите.

Он снял телефонную трубку:

— Вас слушают. — И, через секунду, опять улыбнулся, показал все свои белые и ровные зубы: — Нет, нет, вы не ошиблись... Что? Вы понимаете, дело в том, что Николай Андреевич не очень хорошо себя чувствует... Что, что? Нет, я не доктор, я... Что? Минутку!

Чекмарев отвел в сторону телефонную трубку, накрыл ладонью микрофон и поглядел на меня:

— Это Наталья Николаевна. Она говорит, что сейчас приедет.

— Не надо, — быстро сказал я. —
Попросите ее, чтобы...

Но из отставленной трубки уже раздались короткие и частые гудки, а из ванной комнаты донесся истошный вопль Яшеньки.

Чекмарев прислушался и спросил:

— Кошка?

— Кот. В ванной.

— Я его выпущу, — решительно сказал Чекмарев. — Зачем животное мучить?!

...Яшенька выпрыгнул, вылетел, выскочил в гостиную, как призовой бык на арену, остановился перед Чекмаревым, сузил глаза и вдруг — и уж это, поверьте, мне не померещилось, — вдруг у него поднялась дыбом шерсть, он жалко мяукнул, поджал хвост и, пятясь задом, уполз и забился под диван.

— Какой-то он у вас психованный, — со смешком сказал Чекмарев.

И тут, внезапно, мне совершенно мучительно захотелось выпить, до такой степени захотелось, что в какую-то долю секунды все сущее перестало как бы

иметь значение — и воспоминание об Юрии Леонидовиче и куйбышевском кошмаре, и рукопись Хомича, спрятанная в ящике письменного стола, и Наташа, и этот Чекмарев — все это, сперва отодвинулось куда-то на второй план, скукожилось, потускнело, а потом и вовсе перестало быть сущим и осталось только желание вышить — только оно одно, это желание, и было действительным, а все прочее — пыль, мираж, несносная чушь.

Люди пьющие меня поймут, а людям непьющим объяснить это состояние будет довольно трудно (если вообще возможно), пусть поверят на слово, что состояние это совсем особенное, не сравнимое ни с чем, и тем, кто не знает, я желаю от всей души так и не узнать ее никогда.

Я рывком сел, спустил ноги на пол и сказал:

— Вот что, у меня есть идея...

Я взглянул на Чекмарева:

— Как вас зовут?

— А мы с вами почти тезки, — ска-

зал Чекмарев. — Только наоборот. Вы Николай Андреевич, а я Андрей Николаевич... Выражаясь по-научному — зеркальное отражение.

— Bravo! — воскликнул я в совершеннейшем восторге.

Ай-да Чекмарев! Зеркальное отражение, ишь ты!

— В таком случае, — сказал я, — у нас с вами есть вполне законное основание выпить!..

— Выпить?

Чекмарев посмотрел на часы, подумал — словно что-то прикидывал в уме — и кивнул:

— Можно.

— Bravo! — повторил я и окончательно развеселился. Собственно, развеселился не я. Меня уже не было. «Я» — все то, что называется человеческим «я» — состояло из единственного желания напиться. «Я» — это и было желание напиться, окосеть, загудеть, уйти в отключку. Только это, и ничего больше.

— Будем пить на кухне.

...Я открыл банку бычков в тома-

те — гулять так гулять! — вытащил из холодильника бутылку водки, поставил вино, хлеб, масло, сыр и два стакана — терпеть не могу пить из рюмок. Чекмарев повертел свой стакан в пальцах, посмотрел его на свет, встал, подошел к мойке, ополоснул стакан, и вернувшись за стол, сказал:

— Мне только чуть-чуть.

— Как прикажете, — с готовностью сказал я и налил ему треть стакана. — Еще?

— Хватит.

— Закрасить?

— Нет, нет.

Себе я закрасил. Слава богу, хватило ума купить для Наташи не сухое, а венгерский вермут.

— Ну, будем живы-здоровы.

Мы выпили по первой, побрятели, закусили и я тут же налил по второй. Должен заметить — это опять-таки для непьющих, пьющие знают, — что сочетание водки, обыкновенной водки «сучка» с вермутом — эта штука, как сказал бы покойный корифей всех наук, по-

сильнее «Фауста» Гете. Забирает сразу и основательно.

— Хорошо она под дождик идет! — рассудительно сказал Чекмарев и эти его слова были, пожалуй, последним, что я успел услышать, воспринять и оценить по достоинству. Все, что происходило потом — было для меня попеременным, хотя и нерегулярным, чередованием вспышек света и тени. Словно бы я сидел перед телевизором — и на пустом экране появлялись вдруг, неожиданно и непредсказуемо, то изображение и звук, то одно изображение или один звук, а то опять наплывала пустота, небытие, провал.

Помню, что во время одной из таких вспышек света я увидел Наташу. Мы сидели уже не на кухне, а в большой комнате и Наташа с Чекмаревым о чем-то говорили в повышенном тоне, как будто ссорились. А я, как всегда, подивился тому, что Наташа такая красивая (когда я ее не вижу, я забываю об этом). Она и вправду немножко похожа на Софи Лорен — высокая, крупная, с мед-

ной, вечно растрепанной головой. Лена перед ней фíтюлька, девочка, хотя и старше Наташи лет на десять.

Чекмарев, как я успел заметить, пока держался свет, тоже, на удивление, успел здорово закосеть.

Он хохотал в ответ на сердитые Наташины слова, пытался ее облапить, приглашал танцевать, несколько раз выматерился.

— Попрошу вас вести себя прилично! — очень строго сказал я и опять выключился, провалился в спасительную дымную пустоту.

Следующая вспышка света — Наташи уже нет, я полулежу в кресле, в руке у меня пустой стакан, а Чекмарев стоит у телефона и говорит кому-то, совершенно, между прочим, трезвым голосом:

— Не сердись, пожалуйста... Что значит — обещал, я же не развлекаюсь... Да, да... Ну, ничего, я подогрею, не беспокойся, целую тебя!..

Он положил трубку, обернулся, увидел, что я на него смотрю, и подмигнул мне:

— Женщины!..

— Надо выпить! — сказал я.

Чекмарев развел руками:

— Все!

— То есть как это все?!

Я встал. Меня слегка качнуло, но я удержался и сердито повторил:

— Что значит — все?! Сейчас будет еще.

После этого свет и тьма стали сменять друг друга с какой-то воистину лихорадочной быстротой.

Вот — я у себя дома, а вот я уже стою на дворе, на улице, запрокинув голову и на лицо мне капают крупные капли дождя, и я слизываю их языком. Дождь кислый и мне очень нравится, что он кислый, вроде огуречного рассола. Я даже начал слегка трезветь. Ну, не то, чтобы трезветь, но из состояния отключения я вернулся назад — в состояние беззаботности и восторга.

Магазины были уже давно закрыты, а брать такси и объезжать рестораны — на это у меня не было сил, тем более, что в огромном нашем районе рестора-

нов раз-два и обчелся. Водку, стало быть, надо у кого-нибудь одолжить.

Я направился во второй подъезд (я живу в третьем) к Деду. ... Удивительно, как самые опытные люди (а я считаю себя в этом вопросе достаточно опытным) совершают в подобных случаях одну и ту же типическую ошибку. Типическая ошибка в типических обстоятельствах! Ну, в самом деле — какой же сильно пьющий человек, сильно и регулярно пьющий человек, в десятом часу вечера, в сумеречную пору, когда все нормальные возможности добыть пополнение запасов спиртного исключены, какой же, повторяю, нормальный пьющий человек согласится расстаться с поллитрой, если она у него еще имеется?! Да ни за что на свете!

А я пошел к Деду. А Дед — человек пьющий, в самом прямом, в самом классическом смысле и значении этого слова. Настоящее имя Деда — Александр Анисимович Фиолетов, но решительно все, включая его собственную жену, называют его Дедом. Личность Деда уни-

кальная. У него мировая слава, он один из создателей советской школы математической лингвистики (между прочим, Лена — его ученица), великий мудрец, остроумец и сквернослов.

...Он открыл мне дверь, и я сразу же, по одному его виду, понял, что здесь мне разжиться поллитровкой не светит.

Дед был в клетчатой ковбойке, вылезавшей из бархатных штанов, в войлочных тапочках, рыжевато-седая кудлатая борода торчком, нос и лысина — лилового цвета.

— Николая! — радостно закричал Дед, обнял меня, трижды обмусолил и потащил за руку к себе в кабинет. — Антре!..

В кабинете Деда, на диване, в креслах, на подоконнике и прямо на полу, сидели его ученики — разных возрастов и в разной степени опьянения — и с обожанием смотрели на Деда.

— Мой друг Николай Зимин, — представил меня Дед и сунул мне в руку стопку водки. — Образцовый

представитель, мать его за ногу, всеобщей интеллектуальной энтропии!

Чернявая девица, вильнув бедрами (совершенно непонятно, как она ухитрилась это сделать, сидя на полу), крикнула:

— Ко мне, ко мне!

— Видишь ли, Николая, — сказал Дед, — у нас тут интереснейший спор... Но ты погоди, ты сперва выпей!

Я выпил и к полному своему удивлению ничего не почувствовал. Водка была теплая и после той убойной смеси, которую я пил дома, показалась мне чуть ли не водицей.

— Ну-с, — сказал Дед и ткнул толстым пальцем в пожилого очкарика, который сидел на подоконнике, — так вы утверждаете, Маняша, что я антисемит из-за того, что я обозвал Иосика Иоффе жидовской мордой?

— Точно, — подтвердил очкарик.

— Я обозвал Иосика Иоффе жидовской мордой, — закричал Дед, — и выдвинул его работу на государственную премию. А вы в вашем богоугодном за-

ведении жидов не ругаете, потому что у вас их нет, вы их всех повыгоняли! Слушайте сюда! — еще пуще заорал Дед. — Однажды нарком Луначарский приехал к режиссеру Мейерхольду на репетицию «Ревизора». После сцены в гостинице Луначарский погрозил Мейерхольду пальцем и сказал: — Товарищ режиссер, а ведь вы мистик! У вас там, в этой сцене висит на стуле пальто — ведь это же совершеннейший черт! Мейерхольд ответил: — «Товарищ нарком, я повесил на спинку стула пальто, обыкновеннейшее пальто, а вы увидели черта. Так кто же, спрашивается, из нас мистик?!..» Тут все присутствующие разом захохотали и загадели, а я потянул Деда за рукав и сказал:

— Александр Анисимович, у меня к вам просьба — вы не могли бы одолжить мне до завтра поллитра?

Дед сперва не понял, а когда понял, то даже слегка обиделся:

— Николая, друг мой, извини, но... Пить — пей, пожалуйста, но на вынос — ни капли!..

...После Деда я направился к Косте Карельскому. Не потому, что возлагал на него какие-либо надежды, а просто потому, что жил Карельский на одной лестничной площадке с Дедом.

Мне долго никто не открывал на звонок, потом, наконец, я услышал шлепанье босых ног по паркету, приглушенный, исполненный досады голос:

— В чем дело? Кто там?

— Извини, Костя, — сказал я. — Это я, Зимин. Слушай, ты бы не мог меня выручить — мне нужна бутылка водки!

— Зимин, дорогуша, ты меня с кем-то спутал. Я не алкаш, я бабник! Проваливай!..

...И снова я стоял во дворе, под дождем, трезвея и злясь. Редкие окна в доме были освещены, — несмотря на поганое лето, большинство жильцов все-таки разъехались на дачи, в Дома творчества, на курорты. Но во всех шести парадных нашего дома свет горел — и верхний, и на столиках у дежурных вахтерш — в нашем доме лифтерши дежу-

рят круглосуточно — тут не какие-нибудь работяги живут, тут живут, так их растак, мастера слова, инженеры человеческих душ, чистый народ.

Дом обычно сравнивают с кораблем. Мне кажется, что точнее не корабль, а ковчег. Корабль — это нечто временное, отчужденное и отстраненное, он плывет — как в школьных учебниках арифметики — из пункта А в пункт Б. А ковчег — это пристанище, в ковчеге живут, плодятся и размножаются, спасаются от стихий. Всякой твари по паре — семь пар чистых, семь нечистых.

Наш дом — ковчег, населенный дурачем, которое думает, что спасается от стихий. Наш дом — ковчег, социалистический по форме и национальный по содержанию. Священный принцип священного соцреализма, только наоборот.

...Мимо меня, кивнув, прошли три типчика, неизменная троица — Недоброво (он такой же Недоброво, как я Гогенцоллерн), драматург, и Левин с Горбачевым, критики. По вечерам они всегда, даже в дождь, выходят пройтись, по-

гулять перед сном, подышать свежим воздухом. Когда месье Хаймович не на даче, а в городе, он гуляет вместе с ними.

Они, компаньца эта, не просто литераторы, вроде меня и других, они жрецы и художники, гиганты мысли, любители диссидентской «малинки», крамолы, всякой всячины, которая с запашком.

Я матюкнулся им вслед — гуляйте, голубчики, гуляйте. Гуляйте — пока! Я про вас знаю много больше, чем вы подозреваете, я такое про вас, падлы, знаю, что захоти я только сказать об этом кому следует...

Водка, которую я выпил у Деда, начала меня, все-таки, понемногу забирать, и мир закружил снова — погромыхивая и покачиваясь из стороны в сторону.

Я сжал кулаки, и вдруг меня пронзило:

— Господи, а не спятил ли я с ума?! Ведь рукопись-то Хомича лежит в ящике моего письменного стола! А в квартире у меня — один! — сидит Чекмарев, мой

друг Чекмарев, мое зеркальное отражение, тень, подобие...

Я взглянул на часы — было без четверти десять. Но так как я, естественно, не смотрел на часы, когда отправлялся в поход за водкой, то и сообразить, сколько же времени пребывает он там в одиночестве, мой друг Чекмарев, я не мог. Будем надеяться, что не слишком долго.

Я круто повернулся и чуть не сбил с ног какого-то хрена с авоськой.

— Николай Андреевич, что с вами? Что случилось?

Оказалось, что хрен с авоськой — это Гоц. Матвей Ильич Гоц — старый большевик, старый чекист, участник гражданской войны в Испании, переводчик на Нюрнбергском процессе, чудом уцелевшее ископаемое — ему и сидеть-то пришлось всего-ничего — взяли его только в пятьдесят первом году, а в пятьдесят шестом уже выпустили и даже пристроили на работу — редактором в издательство «Советский писатель».

— Ох, извините, Матвей Ильич, до-

брый вечер, — поспешно сказал я, но от Гоца так легко не отделаешься. Старый хрен обожает сплетни и новости. Он живет вдвоем с внуком Женичкой, приятелем Павлика. Дочь Гоца смылась куда-то на Дальний Восток со своим новым не то мужем, не то просто хахалем, а сына подбросила дедушке, благо работка у него — не бей лежачего! — редактировать переиздания и выступать с пламенными речами на открытых партийных собраниях — на закрытых слово ему давали редко и неохотно. Зато он, правда, отыгрывался на заседаниях бюро секции переводчиков в Союзе писателей — там уж от него спасения не было.

— Что случилось, Николай Андреевич? — повторил Гоц и придержал меня за руку. — У вас очень взволнованное лицо!..

Я усмехнулся:

— Случилось, Матвей Ильич, то, что у меня сидит гость и нечего выпить...

— Великолепно, — сказал Гоц и, как-то по-птичьему наклонив голову к плечу, поинтересовался: — Скажите, а бу-

тылка водки — кажется, она называется «Столичная» — вас могла бы устроить?

Я прямо опешил:

— Откуда у вас водка, Матвей Ильич?

— Пойдемте, — сказал Гоц.

Мы живем с ним в одном подъезде, и когда мы вошли, Катя подняла голову — она опять шила — хотела мне что-то сказать, но передумала, вздохнула и снова уткнулась в свое шитье.

Мы поднялись на лифте на шестой этаж — и по дороге Гоц объяснил:

— Понимаете, ко мне зашел старый приятель и принес бутылку водки. Он сам теперь не пьет, у него язва, но он думал, что я пью. Мы с ним очень смеялись!..

Я представил себе эту картинку — действительно, жутко было, видать, смешно.

Гоц повесил авоську — в ней были две бутылки кефира и плавленые сырки — на ручку двери и принялся шарить по карманам — искать ключи.

— Женичка смотрит телевизор, --

сказал Гоц, — и мне не хочется его беспокоить.

Ключи, разумеется, очень долго не находились, а когда нашлись, Гоц никак не мог попасть ключом в замочную скважину.

— Скажите, Николай Андреевич, вы читали сегодняшние газеты?! — спросил он, после очередной безуспешной попытки, поглядел на меня и трагически поднял брови. — Мир сошел с ума! Уверяю вас! Карильо — генеральный секретарь испанской компартии — называет диктатуру пролетариата «отжившей доктриной»... Я же его знал, этого Карильо! Он был настоящим коммунистом. Некоторые упрекали его в жестокости, но ведь он был жесток к врагам... А теперь — и он и другие — да как они не хотят понять, что предают завоевания Октября!

Он прямо так и сказал «завоевания Октября»! Меня замутило и захотелось опять и как можно скорее, уйти в отключение. Водка забирала, мир кружился все быстрее и быстрее, все сильнее гро-

мыхал и покачивался. Гоц открыл наконец дверь, сделал ладошкой приглашающий жест:

— Прошу!

Впрочем, дальше передней он меня не пустил. Он с таинственным видом приложил палец к губам, скрылся и тут же, через мгновение, вернулся — с бутылкой «Столичной».

— Пожалуйста, — сказал он, — а то я все думал, все искал — куда мне ее деть!

— Вы счастливый человек, Матвей Ильич! — сказал я прочувственно. — Вы нашли то, что искали!

... Я не спустился, я скатился по лестнице вниз (какие-то сукины дети держали лифт на четвертом этаже, а ждать я не мог), рванул дверь своей квартиры — я ее не запираю — и громко позвал:

— Андрей, ты где?

...Да, я забыл сказать, что мы с ним, в одну из минут просветления, перешли на «ты».

— Эй, Андрей!

Никто не отозвался, только из-под дивана — он, как забился под диван, так и сидел там — мяукнул Яшенька.

Чекмарев ушел. Ушло мое зеркальное отражение, ушла моя тень и теперь, как в сказке, я стал человеком без тени, голым человеком на голой земле и мне даже некому было крикнуть:

— Тень, знай свое место!

Чекмарева не было. И рукописи Хомича, сочинения под названием «Именем Российской Федерации», не было тоже.

3

Рукописи Хомича не было.

Я стоял с бутылкой «Столичной» и бессмысленно смотрел на пустой ящик письменного стола. Мир как-то сразу, вдруг, перестал вертеться, как будто его кто-то придержал рукой.

На всякий случай я выдвинул и остальные ящики, набитые всяческой дребеденью — старыми письмами и счета-

ми, никому не нужными вырезками из газет и журналов. Сколько раз я давал себе слово — произвести генеральную уборку, великую чистку — но все руки не доходили.

Потом я проверил не завалилась ли рукопись за ящики письменного стола. Нет, не завалилась.

Потом, я, и весьма тщательно, снизу доверху, обшарил книжные полки, заглянул в спальню, на кухню, в ванную комнату, под диван. И все эти действия я проделывал совершенно механически, не думая, или, вернее, думая о том, что ищу я напрасно и сознавая всю бессмысленность поисков.

Вариант номер один — пока я, как дурак, как самый последний сачок, бегал за водкой, — Чекмарев произвел — не для чего-нибудь, а просто по привычке, — беглый досмотр, обнаружил рукопись с привлекательным названием «Именем Российской Федерации», перелистал ее, заинтересовался и забрал. И, стало быть, дело плохо!

Вариант номер два — Наташа, уви-

дев, что я надрался до безобразия и ровно ничего не соображаю, прихватила рукопись от греха подальше с собой. В таком случае все еще поправимо.

К сожалению, — и это я тоже понимал! — вариант номер один был куда как более вероятным. Мне даже стало казаться, что я с самого начала ждал, что должно случиться что-нибудь этакое. С первого того мгновения ждал, когда открыл дверь и увидел Чекмарева с цветочками.

Но мне — по слабодушию и проистекавшей из этого слабодушия всегдашней бессмысленной надежде на то, что все как-нибудь образуется — не хотелось расставаться окончательно с вариантом номер два.

Я снял телефонную трубку и набрал Наташин номер.

Подошла маман и на мой вопрос — дома ли Наташа — удивленно ответила:

— Николай Андреевич, голубчик, но ведь она поехала к вам. И уже давно...

— Да, да, — быстро сказал я. — Она была у меня, заезжала, а потом... Я

думал, что она уже дома. Анна Сергеевна, будьте добры, как только Наташа вернется, попросите ее сразу же, обязательно сразу же мне позвонить! Хорошо?

Маман произнесла свое восхитительное:

— Непрэм-э-ни-оо!

Я уже хотел положить трубку, но неожиданно, понизив голос, маман сказала:

— Николай Андреевич, извините... Я даже рада, что Наташи нет дома — я давно хотела с вами поговорить...

— Да? — сказал я.

— Поймите, Николай Андреевич, я никогда, никогда не вмешивалась в Наташины дела... Тем более — в личные... Наташа взрослый человек, она была замужем — она вам, вероятно, обо всем рассказывала — и дело в том, что... — маман замялась, подыскивая слова, покашляла, — мне кажется... ну, у меня создалось такое впечатление, что она относится к вам как-то по-особенному... Конечно, у нее были увлечения, и вся-

кое такое... Но я же вижу, я же все-таки мать, Николай Андреевич, я вижу, что с вами — это совсем другое... Поверьте, она очень страдала, когда ее муженек, этот мерзавец, бросил ее, выгнал, в буквальном смысле этого слова, на улицу... И мне страшно подумать...

Господи, сейчас, именно, сейчас, в данную минуту мне как раз только этого не доставало — объяснений с Наташиной маман.

— Анна Сергеевна, — сказал я, — я все понимаю, понимаю вашу тревогу, но это не телефонный разговор. Обещаю — в ближайшие дни я специально выберу время, когда Наташа на работе — заеду к вам, и мы обо всем поговорим.

— Непременно! — пропела маман. — Вы обещаете?

— Непременно! — пропел я в ответ, но так красиво не получилось. — И, пожалуйста, не забудьте сказать Наташе, что я жду ее звонка. Это очень важно!..

... Итак — до поры — вариант номер два отпал не окончательно.

Я встал, пошире открыл окно — эта сволочь Чекмарев накурил так, что в комнате было не продохнуть.

Дождь, подхваченный ветром, полоснул меня по лицу.

Я убрал со стола пустые бутылки и отнес их на кухню, вымыл стаканы (дурные примеры заразительны), вытряхнул из пепельницы окурки.

Недолгая борьба между желанием напиться и здравым смыслом, окончилась, как это ни странно, победой последнего, и я поставил (хотя и со вздохом сожаления) бутылку «Столичной» в холодильник.

Мне нужно было подумать.

Я улегся на диван, подтянул к себе телефон и принялся размышлять.

Совершенно очевидно, что визит Чекмарева, явление Чекмарева народу никакой прямой связи с сочинением Хомича иметь не могло, хотя бы уже потому, что мы условились с Наташей печатать «Именем Российской Федерации» в двух экземплярах, один — ей, один — мне, а черновик уничтожить. И закончи-

ла работу Наташа только прошлой ночью — и никому, решительно никому об этом сочинении не могло быть известно... И значит тут, как говорится, — имеет место быть чистая случайность, несчастное стечение обстоятельств. Я вполне умышленно оставлял в своих рассуждениях благополучный вариант номер два в стороне. Если Хомича взяла Наташа, то вообще все в порядке, беспокоиться не о чем и можно было бы даже выпить. А если — не Наташа? Если рукопись взял Чекмарев, то надо, как пишут в примечаниях к шахматным партиям, считать дальше. Посчитаем. Прежде всего — что такое Чекмарев? Скорее всего, невелика птица — что-нибудь вроде нового уполномоченного ГБ по нашему району. И может быть даже не по всему району, а только по нашему художественному заповеднику, благо больше половины обитателей этого чертова заповедника — иудеи и всякая прочая диссидентская мразь — есть на что положить глаз.

Дальше — зачем Чекмарев прихо-

дил ко мне? Ну, это совсем понятно и просто: приходил познакомиться. Как это делается в точности, я не знаю, но полагаю, что получив назначение в наш район (или заповедник), Чекмарев несколько недель (а может быть, и месяцев) просидел где-то там, в какой-то таинственной архивной комнате («Посторонним вход запрещен») — знакомился, листал тысячи папок с личными делами вверенных отныне его попечению граждан, отмечал, на кого следует обратить особенное внимание, с кем завести знакомство, на кого положиться.

И был такой день, такая минута, когда Чекмарев развязал завязки на папке с личным делом — «Зимин Николай Андреевич», год рождения 1935, место рождения — Москва, член Союза писателей СССР и Союза советских кинематографистов... Нет, наверное, на обложке папки не написано ничего, кроме имени, отчества и фамилии, а все остальное скрывается там, внутри, под картонным или ледериновым переплетом, вся моя жизнь с самого рождения и

до сегодняшнего дня, и кто были мои родители, чем занимались и где похоронены, и где я учился, и какие бабы — до Лены и поселе — делили со мной мое одиночество, и какие мои сценарии увидели свет, и какие статьи и где напечатаны, и, конечно же, не забыты мои корреспонденции из Куйбышева, уж это-то никак не забыто. И еще много всякого-прочего добра имеется в этой папочке — все мои привязанности и пристрастия, все пороки и слабости — все описано, учтено, отмеряно, взвешено. И не просто описано — снабжено примечаниями, характеристиками, справками, может, даже и медицинскими справками, и тогда непременно, непременно упомянут тот случай, когда я устроил тарарам из-за того, что не хотел, боялся внутривенной инъекции, боялся боли. Я орал так, что сбежали не только врачи и сестры, но даже кое-кто из пациентов. Я-то об этом забыл, а они — там, — они не забыли, они помнят.

И все это, все это и многое еще другое, прочел, изучил, усвоил мой друг

Чекмарев, прежде чем отправился ко мне — знакомиться.

О том, какое впечатление осталось у него после первого нашего свидания, думать мне не хотелось. Впрочем, плевать я хотел на впечатление товарища Чекмарева, меня его впечатления интересуют как прошлогодний снег, меня интересует — кому передаст Чекмарев сочинения Хомича (если рукопись все-таки взял Чекмарев) — кому и когда. Юрию Леонидовичу? Да, скорее всего, Юрию Леонидовичу.

Досчитав до этого места, я встал и пошел в уборную. Мир не кружился, голова не кружилась, только во всем теле было ощущение свинцовой, утомительной тяжести.

Я рванул молнию на своих американских (комиссионка на Беговой улице) джинсах, пописал и понял, что мне необходимо принять душ.

...Я стоял, полузакрыв глаза, под горячей водой и мне было холодно. На животе, на груди, на плечах, как в стакане с минеральной водой, вспыхивали

и лопались пузырьки озноба. И в этом ознобе была какая-то странная, тревожная приятность. Я пустил холодную воду, и мне стало жарко.

Я растерся досуха, до боли, махровой простыней, надел итальянский купальный халат (комиссионка на Комсомольском проспекте), вернулся в большую комнату и снова лег на диван.

Итак — сочинение Хомича попало к Юрию Леонидовичу.

Хорошо, будем считать дальше. Если ладья бьет на б-7, то я играю слон-с-3 шах...

Сочинение Хомича «Именем Российской Федерации», изъятое (это еще великий Ленин придумал, вместо грубого «украсть» — архиинтеллигентнейшее «изъять») у гражданина Зимина Николая Андреевича оперативным сотрудником Чекмаревым Андреем Николаевичем, лежит на столе у Юрия Леонидовича. Возможно — это происходит уже сейчас, возможно — произойдет завтра. Юрий Леонидович читает сочинение Хомича и, надо полагать, ему не слыш-

ком придется ломать себе голову над вопросом — кто автор. Здесь все просто, все ходы очевидны и единственны. А вот дальше — начинается каша, возможностей начинается такое великое количество, что считать их становится все труднее и труднее. И все страшнее. Помню, что я пытался применить способ подстановки — я это он. Я прочел и понял. Что теперь?

Можно, конечно, принять меры пресечения немедленно, а можно и подождать. И подождать, последить, пожалуй, разумнее, чем рубить с плеча. Я (Юрий Леонидович) довольно хорошо знаю его (меня), знаю, что он (я) ни с какими подписантами-диссидентами не связан, до сих пор, во всяком случае, связан не был — и стоит, не спеша (а куда мне, Юрию Леонидовичу — спешить?!) поинтересоваться — с чего это вдруг, какая такая неожиданная радость, какое помутнение (перепил, что ли?!), заставили его (меня) сесть и написать подобное сочиненьице?!

И тут я отвлекся, тут я прекратил

игру в подстановку и задумался — а зачем я и впрямь, ради какого рожна, сочинил это «Именем Российской Федерации»? Зачем мне все это было нужно? Для чего?

За год, примерно, до того, как началась эта бредовня, в душевой Дома Творчества писателей в Малеевке я, совершенно ненамеренно, подслушал один разговор.

Вставал я — это знали и подсмеивались — очень поздно и к завтраку, как правило, являлся самым последним, когда большинство мастеров художественного слова уже бултыхались в пруду, или кончали первую «пульку», или даже (весьма немногие) сидели и работали. А в то утро я почему-то проснулся в несусветную рань — часов в восемь — отправился в душ (душевые кабинки помещаются внизу, в подвале) и там, в душе, под негромкое журчание воды, услышал любопытнейший разговор. Кабинки расположены в ряд, перегородки между ними тонкие и все звуки, которые доносятся от соседей, доносятся с какой-то

особой, как во всякой бане, невразумительной гулкойстью. Разговаривали два голоса, женский и мужской. Женский был от меня справа, мужской — слева. Они были, мерзавцы, так увлечены своей гнусной беседой, что даже не обратили внимания на то, что кто-то вклинился между ними. А если бы, впрочем, и обратили, то все равно, не подумали бы, что это могу быть я.

А разговор шел обо мне.

Женский голос (сперва я не понял — чей) спросил:

— А как же все-таки это с ним получилось, как он дошел до жизни такой?

Мужской голос, отдуваясь, ответил:

— Пьянство, бабы, абсолютный цинизм.

Мужской голос — насморочный баритон — я узнал сразу, принадлежал он бывшему моему соученику по Литинституту и нынешнему соседу по дому — Недоброву, драматургу Недоброву.

— Вы не поверите, — продолжал он, — когда мы учились в Институте, с самого первого курса и до последнего,

он считался у нас чуть ли не звездой! Все им восхищались, все ему завидовали, все пророчили ослепительное будущее. За его дипломные рассказы сам Константин Георгиевич поставил ему пятерку и устроил их в «Юность».

— Я помню, помню эти рассказы, — прокурлыкал женский голос.

И тут, одновременно, я понял и то, что разговор идет обо мне, и то, что женский голос принадлежит критикессе Жанне Хазиной, старой пробляди, известной под кличкой «Баба Сися». За свою долгую сволочную жизнь — ей сейчас хорошо за семьдесят! — Баба Сися ухитрилась переспать чуть ли не со всеми первыми секретарями Союза советских писателей и их заместителями. Никто никогда не мог понять, как ей удавалось снять с них штаны — внешне Баба Сися страшнее войны — может быть, не последнюю роль в ее победах на сексуальном фронте играло то обстоятельство, что в благодарность за любовь Баба Сися всякий раз неизменно дарила советскому читателю очередной толстенный том

с обязательным названием «В творческой лаборатории такого-то». А какому же писателю — а уж секретарю Союза писателей особенно — не хочется дать возможность своим читателям и почитателям приоткрыть, как говорится, завесу над тайной, заглянуть в святая святых, проникнуть хоть ненадолго в ту самую лабораторию, где творятся шедевры.

— Я помню эти рассказы, — сказала Баба Сися, — я даже где-то, в какой-то обзорной статье, называла их... Но, и это я тоже помню, мне уже тогда показалось, что подлинного биения жизни в них нет!

Она все помнила, старая вонючка, она все понимала про биение жизни, еще бы!

— Ну, знаете ли, Жанна Михайловна, слишком уж мы щедро употребляем это слово — талант. Талант — редкость, дар, обязательство. Был бы у Зимины талант, он бы сам, сам не позволил бы себе его затоптать! Был не талант, а всего лишь способности! — сказал Недоброво каким-то надсадным голосом, он,

видно, мыл себе в это мгновение задницу и прочие места общего пользования. — Были, да и те сплыли!..

— Вот именно! — сказала Баба Сися и захихикала, и я представил, как на сером цементном полу трясутся ее серые телеса.

В тот же вечер я сел писать «Именем Российской Федерации». Нет, разумеется, не гнусный разговор Недоброво с Бабой Сисей заставил меня приняться за работу, разговор этот был всего лишь неожиданной, случайной точкой в длинной строке собственных моих размышлений. Все, что произошло со мной в прошлом, все, что происходило в настоящем, — все это было — так мне казалось тогда и так мне кажется и по сей день — куда сложнее, чем просто, как изволил выразиться Недоброво, «бабы, пьянство, цинизм».

И когда я сел писать, я сразу же позабыл и эти его слова, и самого Недоброво с Бабой Сисей, я не для них писал, не им я что-то объяснял и доказывал, и другие — не их — голоса

разговаривали со мной, другие глаза на меня смотрели — глаза Лены, Наташи, Павлика. Павлика, прежде всего. А иногда, как ни странно, даже Хаймовича.

Когда-то, еще в пору наших общих вечеров, я рассказал, по пьяному делу, Лене и Хаймовичу эту куйбышевскую историю. Рассказал как бы с чужих слов, посмеиваясь и ерничая, все время, умышленно и подчеркнуто, отделяя себя от рассказчика-очевидца — и очень удивился, когда увидел, что Лена вытирает слезы.

— Написать бы такое! — вздохнул Хаймович и долго заталкивал в пепельницу погасшую сигарету.

Вот и написал, тля! Я, а не ты!

... Я взглянул на часы — половина двенадцатого. Почему не позвонила Наташа? Если она поехала домой, то уже давно должна была доехать и маман не могла не сказать ей, что я просил позвонить.

Если она поехала домой. А если не домой — то куда? Звонить ей самому

мне не хотелось, чтоб не нарываться опять на маман.

От нечего делать (а что мне было делать) я решил посчитать вариант номер два — «Именем Российской Федерации» взяла Наташа. Но тут же выяснилось, что весь второй вариант на этом, собственно, и кончается. Экземпляр взяла Наташа. И точка. И считать больше нечего.

Яшенька выбрался, наконец, из-под дивана и принялся слоняться по квартире, неодобрительно к чему-то приносиваясь и пофыркивая.

Я хотел включить радио — послушать последние известия — и не включил. Хотел перебраться с дивана на кровать и не перебрался.

Я уснул и снилась мне всякая похабная чертовщина, вроде сцен из фильмов Феллини.

...Я проснулся в десять часов утра. Наташа, стало быть, так и не позвонила, а звонить ей было уже поздно, с девяти она на работе.

За окном все так же нудно шел дождь.

Яшенька, негодяй, спал на столе, свесив вниз голову и передние лапы.

Что же, все-таки случилось с Наташей? Очень уж обидеться она не могла, в подобном состоянии, в каком я был вчера вечером, она меня уже видела. И даже, увы, не раз. Что-то, значит, случилось. Что?

В голове у меня была полная муть, но единственное, что я понимал и понимал вполне отчетливо — если я буду сидеть дома, в компании с Яшенькой и продолжать задавать самому себе бессмысленные вопросы, то в конце концов на белый свет неизбежно, в качестве ответа, появится бутылка «Столичной».

Но, как выражаются лекторы-международники, на данный исторический момент подобный ответ меня не устраивал.

Я решил встать, побриться, отвезти в Гнездниковский, в кинокомитет, бессмертное творение «Огни над морем» — и оттуда зайти на работу к Наташе, тем более что от Гнездниковского до улицы Качалова — подать рукой. А на улице

Качалова находился тот самый, хорошо известный не только москвичам букинистический магазин иностранной книги, где Наташа работала товароведом.

...У меня (об этом я сказал уже в самом начале) очень мало времени, в обрез, но я, тем не менее, стараюсь не пропустить ни одной имеющей хоть сколь-нибудь существенное значение подробности. Впрочем, — но эта мысль пришла мне в голову сейчас — может быть в то утро поллитра «Столичной» была бы не таким уж плохим решением проблемы — что делать. Но не мог же я тогда знать — чем все это кончится, не мог знать, что ждут меня впереди не просто неприятности (к неприятностям я, как все советские люди, всегда готов), а что-то, тут и слова-то не подберешь достойного, такое, перед чем давний куйбышевский кошмар покажется мне чуть-ли не сказкой для детей дошкольного возраста. А если бы знал? Это я спрашиваю себя сегодня, сейчас — спрашиваю и ответа не нахожу, нет ответа.

...Итак, я встал (встать было

труднее всего) и отправился в ванную — приводить себя в христианский вид.

Я поглядел в маленькое зеркальце над умывальником на свое отражение, и то, что я увидел, показалось мне не таким уж безобразным, как следовало ожидать. Морда, разумеется, была опухшей и мятой, но не до той крайней степени, когда нельзя явиться на люди.

Я ополоснул лицо водой — холодной, потом горячей, потом снова холодной, после этого я намылил физиономию жидким венгерским мылом, сменил лезвие в жилетовском станочке и приступил к бритью. И пока я брился, откуда-то, из темных глубин легкомыслия явилась ко мне спасительная догадка, что Хомича взяла Наташа. Мысль эта, догадка, не только явилась, но даже на время утвердилась. Ход рассуждения был, приблизительно, следующим — потому-то Наташа и не позвонила, что «Именем Российской Федерации» у нее, и ей хотелось меня наказать, заставить попсиховать, посуетиться. А иначе бы

она обязательно позвонила, непременно-о!

Это рассуждение показалось мне настолько очевидным (вот оно — утро вечера мудренее), что я подмигнул своему отражению в зеркале и принялся насвистывать — популярный мотивчик из американского боевика.

И тут, внезапно, я услышал шаги, неспешные, негромкие, отчетливые шаги. Я замер.

Кто-то чужой — неизвестный — нежданный — ходил по моей квартире, и у меня мгновенно пересохло во рту.

Я стоял в каком-то странном оцепенении, и жидкое мыло капало с лезвия на пол и в раковину умывальника.

Шаги приближались.

— Кто там? — нашел я в себе, наконец, мужество спросить омерзительно-хриплым голосом.

Дверь в ванную отворилась.

— Ты здесь, папа?

Павлик! Ну, что же я за кретин — ну, конечно же, это был Павлик — я ведь сам дал ему второй ключ от квар-

тиры, чтобы он мог в любое время приходить, играть с Яшенькой, заниматься, смотреть телевизор.

— Фу! — с шумом выдохнул я воздух и засмеялся. — А ты меня напугал. Я был уверен, что ты на даче... Здравствуй, мой дорогой, здравствуй, мой милый!

— Здравствуй, папа!

Он подошел ко мне сзади, ткнулся плечом в спину, и в зеркале, рядом с моим гнусным рылом появилось его чистое прелестное лицо с большими темными (Лениными) глазами, и с (моим) прямым, слегка вздернутым на самом кончике, носом.

— А что с Яшенькой? — спросил Павлик. — Он очень, почему-то, печальный.

— Не знаю, — сказал я.

— Очень печальный, — повторил Павлик.

Он был, поверх майки, в синей брезентовой курточке (я не видел раньше у него этой курточки), в дрянных бумажных штанах, которые называются «ин-

дийскими джинсами» (надо будет в комиссии на Беговой заказать ему настоящие!), в стоптанных мокрых сандалях.

— Вот что, голубчик, — сказал я, снова принимаясь за бритве, — там, в большой комнате, на диване лежит авоська, а в авоське ананас. Ты пойдика, займись, а я добреюсь и присоединюсь, хорошо?

— Я не могу, папа, — сказал Павлик, — я очень спешу. Рязанцеву зачем-то нужно было на десять минут в город, он меня подвез и он же отвезет меня обратно...

У товарища Рязанцева, цитатчика, стукача, железно-бетонного философа и у месье Хаймовича, рядом, забор в забор, дачи на Красной Пахре. Дед Фиолетов заметил, что на данном примере можно наглядно убедиться в том, что грани между трудом умственным и физическим действительно стираются.

— Видишь ли, папа, — сказал Павлик и присел на край ванной, — я хотел тебе сказать... Ты понимаешь — мы решили уехать...

— Дождя испугались? — весело спросил я.

— Нет, не дождя, — сказал Павлик, и вдруг усмехнулся. Он так необычно усмехнулся, так по-взрослому, что у меня от предчувствия какой-то новой напасти захолонуло сердце, но я промолчал. Я молчал и продолжал бриться. Я очень тщательно брился, очень сосредоточенно.

— Видишь ли, папа, — снова заговорил Павлик, — сперва медленно, а потом заторопился, заспешил, путаясь и глотая слова, словно боялся, что если не скажет всего разом, то, быть может, не сумеет сказать вовсе, — мы решили уехать совсем... Дядя Наум получил вызов — из Израиля... Уже давно — месяца два-три тому назад... Вызов на всех — и на меня, и на маму... Мы просто никому не говорили об этом раньше... Потому что... Ну, ты сам понимаешь... И мы уже подали документы в ОВИР...

Я молчал. Я молчал и продолжал бриться. Слегка закинув голову я вы-

бривал себе подбородок — стремясь достичь некой совершенной гладкости и чистоты. У меня только дрожали ноги, но я не обращал на это внимания и брился.

— А вчера как раз, папа, пришло письмо из ОВИРа... Они требуют, ну, просят, чтоб ты написал, что ты не возражаешь против того, чтобы я уехал!

Кажется, я что-то крикнул и изо всей силы запустил бритвой в зеркало. Звук был очень отвратительным и громким, бритва отлетела и упала на пол, но и зеркало, как ни странно, не разбилось и бритва осталась цела.

— Папа! Ты что? — спросил Павлик.

Я закрыл глаза. Это лучший способ сдержать бешенство — на несколько мгновений закрыть глаза. Я постоял с закрытыми глазами, а потом, уже почти спокойным голосом сказал:

— Значит, в Израиль. На историческую родину месье Хаймовича... Павлик, милый, послушай, ты же взрослый мальчик, ты же должен понимать, что все это чушь собачья! Ты-то здесь причем? Ты же русский!

— Наполовину, — сказал Павлик, — мама — болгарка.

— Ну и что?! — сказал я. — Болгары, как тебе надеюсь известно, такие же славяне... При чем здесь Израиль? Что ты там будешь делать?

— Учиться.

— На ихнем языке? Читать справа налево? Носить могоендовид и говорить — Шолом?

— Там есть русские школы.

— Нету там никаких русских школ, это тебе наврали! Павлик, милый, я понимаю, что тебе просто интересно. Я тоже когда-то мечтал — много ездить, видеть дальние страны... Помнишь, мы вместе читали: «На далекой Амазонке не бывал я никогда»... А мы побываем, обещаю тебе, мы обязательно побываем, теперь это все не так уж сложно... Ты только представь себе — поедем по всему белу свету и таких чудес, таких волшебностей наглядимся... А месье Хаймович, если уж так ему приспичило, может катиться в свой Израиль! На здоровье! Надеюсь, что никто его удерживать не будет, пусть катится!

— А мама? — тихо спросил Павлик.
Я неуклюже пожал плечами:

— Что мама?! Мама должна решить...

— Мама решила, — сказал Павлик и опять усмехнулся этой своей новой взрослой и какой-то печальной усмешкой. — Между прочим, это именно она решила. Дядя Наум как раз сомневался, а мама решила. Кстати, она просила сказать, что тебе вовсе не обязательно давать свое согласие, она понимает, что у тебя могут быть неприятности... И все такое... Она сказала, что достаточно, если ты напишешь что-нибудь вроде... Ну, что — так как мы вместе не живем — то тебя эта история просто не касается! Что-нибудь вроде этого!..

— Ах, так!?

Мысленно я прокричал:

— Мерзавка, гадина, дрянь!..

Но вслух я скаал:

— Дело в том, Павлик, что меня это касается. И даже очень. Хотя бы уже потому, что ты мой сын, я тебя люблю, и мне совершенно не безразлично — где

ты будешь жить, с кем, и кто и какие идеи будет вбивать тебе в голову...

Мне пришлось снова на мгновение закрыть глаза, а когда я их открыл — Павлик уже стоял в дверях.

— Твоя фамилия — Зимин, — сказал я, не оборачиваясь и глядя на него в зеркало. — Ты Павел Николаевич Зимин, русский, запомни! И сколько бы ты не навешал на себя этих поганых магендовидов, никакие сионские мудрецы никогда не признают тебя своим... О Хаймовиче я не говорю, мне на него плевать, но если мама этого понять не хочет, то я понимать обязан... И я напишу письмо в ОВИР... Да, да, обязательно напишу! Я напишу, что я не только возражаю против твоего отъезда, но что буду бороться из последних сил... И передай маме и Хаймовичу — я знаю, что у них — у этих Хаймовичей — у них есть дружки везде и всюду! Но на этот раз никакие дружки ему не помогут, никакие дружки, никто! Так вот и передай!

Павлик медленно кивнул:

— Хорошо, я передам.

Он помолчал, вздохнул и сказал нараспев:

— А я-то еще с мамой спорил...

И он ушел. А я не побежал за ним, не попытался его задержать. Я и по сей день не могу понять — как я мог, в то утро, позволить ему уйти, почему не бросился за ним следом, не задержал, не попытался объяснить и уговорить. Но снова — это уже теперь — снова я спрашиваю себя — ну, а если бы побежал, задержал бы, уговорил — случилось бы все то, что случилось потом — или нет? Могло ли это хоть что-нибудь изменить! И вообще доступно ли человеку предвидеть хитроумные забавы случая, может ли он отвечать — за камень, упавший с крыши, за выигрыш по лотерейному билету, за подсолнечное масло, которое Аннушка пролила на трамвайные рельсы на Патриарших прудах?! Мы ходили с Наташей как-то на эти Патриаршие пруды — посмотреть на место, описанное Булгаковым в «Мастере и Маргарите».

Все было, разумеется, непохоже. За-

мурзанный дед-краевед, который сидел на скамеечке и сам с собою резался в шашки, объяснил нам, чо трамвайная линия на Патриарших прудах снята еще в конце двадцатых годов и поинтересовался — не иностранцы ли мы.

— А то все ходят сюда — эти — разноцветные! — сказал он. — Все ходят и тоже, почему-то, трамваем интересуются. И сымают! А чего тыт сымать, скажите на милость?! Вон, пивной ларек был — так и его снесли... Чего же тут сымать?..

...Из окна большой комнаты я увидел, как Павлик садится в машину Рязанцева. У товарища Рязанцева не какие-нибудь засратые «Жигули», вроде как у меня, — а шикарная, светло-серая «Волга». Цитаты — дело доходное. Шпарь себе на четыре, пять страниц высказывания основоположников, нагоняй листаж! Вот он и нацитировал, паразит, наступал, нажил!..

Когда машина отъехала, я прокричал ей вслед, в закрытое окно, большой джентльменский набор проклятий. Я

проклял Хаймовича, Лену, государство Израиль, Голду Мейер, Моше Даяна и всех тех арабских лидеров — ленивых и трусливых, — имена которых мне удалось вспомнить.

... В Гнездиковский я явился, разумеется, поздно — начальник Управления по производству художественных фильмов, старинный мой приятель Сергей Сергеевич Соловьев уже отправился со своими холоуями в просмотровый зал. Ответственные работники фильма, как известно, не смотрят, а просматривают.

Я отдал четыре экземпляра «Огней над морем» секретарше Соловьева Лидочке — вот уже года два, как эта Лидочка — рыженькая, с подлыми голубыми глазками и носиком-уточкой — начинала, стоило мне только появиться, жарко дышать и выпячивать дышлячью грудь.

Придется все-таки пригласить ее как-нибудь к себе домой, на чашечку кофе. Неохота, конечно, но, как говорится, искусство требует жертв.

Когда-то в Тбилисской бане банщик-армянин открыл мне великую тайну:

— На каждого мужчину, уважаемый товарищ, отпущено природой два ведра! — шопотом сказал он, разминая мне плечи. — Так что все эти спермокрины, все эти панты-шманты и женьшени, все это — сплошное, извините за выражение, шарлатанство! Два ведра, уважаемый, и ни капельки больше!

Лена, помню, очень смеялась, когда я рассказал ей об этом разговоре.

... Из Гнездиковского проходными дворами, я вышел на Пушкинский бульвар и пошел вниз, к Никитским воротам, к памятнику Пушкина.

Моросил по-прежнему дождь и я похвалил себя за то, что не взял машину — пришлось бы весь день возиться с «дворниками» — щетками для ветрового стекла — снимать их и надевать. Занятие вполне бессмысленное, но в стране победившего социализма «дворники» на машине нельзя оставлять без присмотра ни на минуту — сопрут тут же.

Народу на бульваре было немного — дождь. Несколько мухоморов-пенсионеров, накрыв газетами головы, за-

бивали на деньги «козла». Детская группа — синие сморчки в белых панамках — разучивали песню про дедушку Ленина.

На меня опять — и опять неожиданно — навалилась усталость, тупая и тяжелая, как мешки с песком, побежали по телу пузырьки озноба, а глаза начало резать, словно их залило теплой мыльной водой.

Все, что случилось со мной, начиная со вчерашнего вечера — и визит Чекмарева, и непотребное пьянство, и пропавшая рукопись Хомича, и приход Павлика с идиотским сообщением — все это было, как любила говорить Лена, — «немножко немножко».

Я уже почти подошел к Никитским воротам, к памятнику Тимирязеву. Оставалось всего несколько метров, а потом сверну направо — на улицу Качалова, пройду еще один квартал, миную аптеку и сразу же, за аптекой, будет книжный букинистический магазин, и Наташа — и все, конец, прояснится, обрывается, встанет на свои места.

Я попытался вспомнить — а что я, в сущности, знаю про Наташу? Оказалось, что не так-то уж много. Случай и на сей раз (на сей раз даже особенно!) позабавился, похихикал в кулак — с Наташей меня познакомил Хаймович. Вернее, не познакомил, а просто я у него как-то спросил, не знает ли он хорошую и не слишком дорогую машинистку — и он дал мне Наташин телефон. Было это еще в ту пору, когда Лена с Павликом не переехали со второго этажа на третий, и встречи с Наташей, поначалу, складывались сугубо по-деловому — я отдавал ей черновик какого-нибудь очередного эпохального произведения, через несколько дней она приносила мне четыре необыкновенно чисто напечатанных машинописных экземпляра, я с нею расплачивался (брала она и вправду недорого) и мы расставались — до следующей эпохалки. Впрочем, на то, что она не только красивая баба, но еще и с чертовщинкой, на это я обратил внимание сразу.

Но лишь потом, после моего возвра-

щения из Алма-Аты в холостое и пустое жилье, после вереницы баб (артисточек и секретарш в основном), пытавшихся прибрать меня к рукам, появилась — уже в новом качестве — появилась в моем доме и осталась, начала оставаться на ночь, на неделю, на несколько дней — Наташа.

Ну-с, так что же, все-таки, я про нее знал?

Очень немного. Я знал, что ее отец, Коноплянников, довольно видный в свое время экономист, был причастен к знаменитому Ленинградскому «Делу Вознесенского», подмели его одним из самых последних, в пятидесятом, что ли, году, и не то расстреляли, не то он помер в тюрьме. Наташе было тогда полтора года. Спасибо, партия родная, за наше счастливое детство!..

После Двадцатого съезда и разоблачений «культы личности» — товарищ Коноплянников был, посмертно, полностью реабилитирован и Наташа, окончив среднюю школу, с блеском и треском поступила в Московский Универ-

ситет, на отделение искусствоведения — откуда ее, с тем же самым блеском и треском, поперли с третьего курса. За что — этого я никогда понять толком не мог, а Наташа в подробности не вдавалась.

В те же дни, вместе с Университетом, она рассталась и со своим муженьком, о котором Наташа и вовсе ничего не говорила, и только со слов ее маман, Анны Сергеевны, я знал, что он был мерзавцем и комсомольским деятелем.

Потом она, Наташа, помыкалась и послонялась, окончила какие-то годичные торговые курсы и устроилась на работу — товароведом на приемке — в букинистический магазин иностранной книги...

И тут я буквально (пользуясь старинным выражением) остановился как вкопанный и (опять же на старинный манер) стукнул себя кулаком по лбу.

— Минутку, минутку, минутку! — сказал я себе. — Думайте, Николая, думайте! Думайте хорошенько и внимательно!..

А ведь работка эта — товаровед на приемке иностранных книг особая, непростая работка. И особенность ее заключается в том, что без «допуска» на такую работу не поступишь. А «допуск» оформляется — где? Думайте, Николая, друг мой, думайте! А, впрочем, чего же тут думать? «Допуск» — и это всем известно — оформляется в особом отделе, — а что такое особый отдел — это тоже, слава богу, хорошо всем известно.

Я вспомнил, как Наташа как-то раз вскользь сказала, что у нее имеется «индекс» — список запрещенных книг и авторов. Список этот, разумеется, строго секретный. И не принять подобную книгу мало — товаровед обязан еще, по возможности, записать имя и адрес того дурака, который пытался всучить ему подобную книжку. И, стало-быть, дорогой мой друг, Николай Андреевич, и стало быть — а не купились ли вы, почтеннейший, как самый наипоследний пижон и фраер?! И так ли уж случаен, как думалось мне вначале, был визит Чекмарева — ни днем раньше, ни днем позже —

а именно в тот самый день, в тот самый час, когда эта курва принесла мне сочинение Хомича?!

Картинка вырисовывалась довольно убедительная и последовательная, вроде как на тех загадочных журнальных рисунках из отдела «В часы досуга» — где птичка? А вот она, птичка, вот она, голубушка!

Я по-прежнему неподвижно стоял у дверей магазина, и мне опять было одновременно жарко и холодно, и очень сильно — до боли — резало глаза.

А я-то, ночью, считал только два варианта. Оказалось, что есть и третий. Хотя, если разобраться, этот, внезапно возникший, третий вариант, был всего лишь дополнением и уточнением варианта номер один.

...Я толкнул ногой дверь и вошел в магазин.

К Наташе — она сидела за невысокой деревянной перегородкой, отъединявшей отдел приемки от собственно магазина — тянулась, как всегда довольно длинная очередь — нечесанные и

прыщеватые молодые люди и старички и старушки — из «бывших». Очередь как очередь, на первый взгляд. Но все было не так-то просто — это я опять-таки знал из рассказов Наташи. Молодые люди, студенты, сдавали, как правило, книги, принадлежавшие их соученикам-иностранцам (имелась тайная инструкция, о которой было, тем не менее, широко известно) — принимать иностранные книги только от граждан с советским паспортом. Смысл инструкции был понятен — с какого-нибудь там француза или американца взятки гладки, ну не приняли книги и не приняли, а своего можно и поприжать — откуда у вас, к примеру, «Скотский хутор» Орвелла? Кто дал, кто читал кроме вас?! И так далее!.. А старички и старушки — «из бывших» занимались и вовсе удивительным промыслом — переводами «по черному». Халтурно, с листа — за неделю, не больше, они переводили какой-нибудь детектив или похабщину, отпечатывали перевод в пяти-шести экземплярах и за каждый экземпляр драли с лю-

бителей (а на детективы или на похабщину любители найдутся всегда!) по десять-пятнадцать рублей.

Некоторые переводчики-профессионалы (я знаю кое-кого и в нашем доме!) в минуту жизни трудную, тоже не брезговали этим вполне доходным занятием.

— ... Я пододвинул плечом длинноволосого очкарика и, перегнувшись через деревянный барьер, негромко сказал:

— Здравствуйте, Наталья Николаевна!

Наташа — она внимательно перелистывала какую-то толстую книгу — ответила сухо, не глядя:

— Извините, я занята.

— Но...

— Я занята, подождите до перерыва!¹

¹ Здесь, на 57 стр. машинопись обрывается. Никаких набросков или планов, позволяющих судить о дальнейших судьбах героев, к сожалению, не сохранилось. (Прим. редактора)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Василий Бетаки. Вместо мемуаров.....</i>	5
Я выбираю свободу быть просто самим собой.....	9
Во всю дурил двадцатый век.....	77
Истории из жизни.....	133
Последние строки (<i>стихи и начало романа</i>).....	171

Сдано в набор 20. 03. 96.
Подписано в печать 23. 04. 96.
Формат 60×90 1/64.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. — 9. Тираж 20 000.
Заказ 39.

Издательский дом «Пенаты»:
198013, г. Санкт – Петербург,
Московский пр. 57 – а.
Лицензия № 064462

199026, СПб, Средний пр., 86
Типография ТОО «БИОНТ»

